

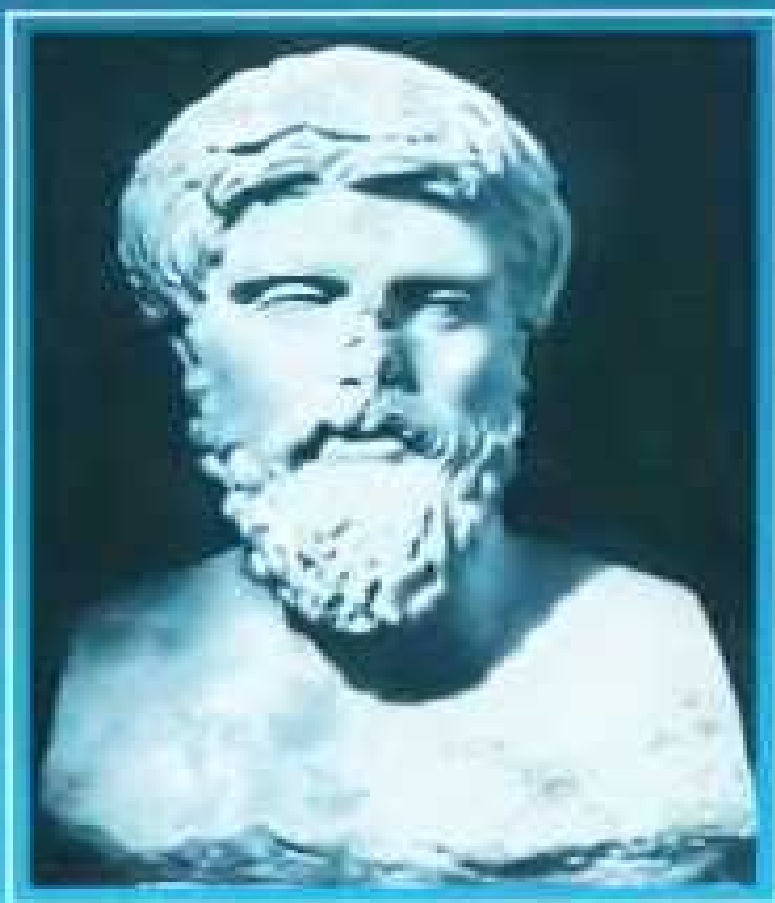
А
Ф
И

Академия Фундаментальных Исследований

ИСТОРИЯ

Т. В. Гончарова

ПЛУТАРХ



Annotation

Настоящая книга представляет собой жизнеописание древнегреческого философа, биографа, моралиста Плутарха, всю свою жизнь посвятившего общественной и политической деятельности. Повествование насыщено множеством исторических фактов, а также цитат из трудов мыслителя, в большом количестве дошедших до наших дней, так что перед читателем предстают яркие, живые события прошлого, которые перекликаются с внутренним миром Плутарха. Книга будет интересна не только философам и историкам, но и просто любителям повествований о древности.

- [Татьяна Викторовна Гончарова](#)
 -
 - [Плутарх](#)
 - [Об авторе](#)
 -
 - [Пролог](#)
 - [Глава 1. Начало пути](#)
 - [Глава 2. Мир обветшавший и неповторимый](#)
 - [Глава 3. Железный город](#)
 - [Глава 4. В цитадели самодостаточности](#)
 - [Глава 5. В Риме Домициана](#)
 - [Глава 6. Сравнительные биографии](#)
 - [Глава 7. Во славу бессмертного Локсия](#)
 - [Основные даты жизни и творчества Плутарха](#)
 - [Источники](#)
 - [Литература](#)
-

Татьяна Викторовна Гончарова

Плутарх



Об авторе



Доктор исторических наук, профессор. Окончила классическое отделение филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, а также аспирантуру при Институте Латинской Америки АН СССР, где впоследствии более 30 лет занималась изучением цивилизационной и общественной проблематики коренного индейского населения; одновременно работала над темами античности. Т. В. Гончарова является автором 8 монографий, в числе которых книги о греческих деятелях — поэте Еврипиде, философе Эпикуре, писателе Плутархе, а также римском поэте Гае Валерии Катулле («Аттис»). Неоднократно выступала с лекциями и докладами по цивилизационной проблематике за рубежом (Венгрия, Испания, Мексика, Боливия, Куба). В последнее время обратилась к рассмотрению связей между архаичным Средиземноморьем и древнейшим населением Нового Света;

некоторые итоги этой работы нашли отражение в «Очерках американской предыстории» (2009).

*Поэтому, если не дано нам делами (эта
возможность
не в наших руках), то победим это
ускользающее неверное
время нашей литературной деятельностью.
Пам отказано в
долгой жизни: оставим труды, которые
докажут, что мы жили.*

Плиний Младший

Пролог

Многие из тех, кто обращались за истекшие девятнадцать столетий к сочинениям и биографии Плутарха из Херонеи, считали его достойным памяти просвещенного человечества не только за то, что он написал, но и за то, как он жил. И действительно, достойны удивления та сила духа и пронизательного разума, та великая вера в самоценность бытия, которые помогли ему, одному из последних великих дарований угасающей Эллады, сохранить достоинство, справедливость, чистоту помыслов и сострадание к себе подобным, что в те времена становилось все труднее.

Многие мыслители, поэты и историки Эллады и до Плутарха жили во времена беспокойные и смутные, в годы опустошительных нашествий и роковых междоусобных распрей. И тогда порой казалось, что жить на родине больше невозможно. Как казалось это трагическому поэту Эсхилу, бежавшему из Афин от яростной несправедливости сограждан, или же философу Платону, у которого, по его собственным словам, потемнело в глазах, когда он посмотрел вокруг. Во времена Плутарха, к первому веку нашей эры, навсегда остались в прошлом неповторимые по красоте сооружения, скульптуры, поэмы и философские трактаты, авторы которых пытались доискаться до сути мира. Теперь не было даже Эллады, а была Ахайя, наименее доходная из римских провинций, обезлюдившая и захолустная, где поля заросли сорняками, одичали сады и выродились оливковые рощи. Где в когда-то многолюдных городах год за годом приходили в негодность дома, многие уже были оставлены хозяевами, а у заброшенных храмов искали скудного корма тощие козы. Так сбылись пророчества мудрецов, предвидевших горестный финал братоубийственных распрей, непримиримой вражды между знатью и демосом, ожесточенной ненависти простонародья к поэтам и философам, ко всем свободно мыслящим. Только теперь стала видна в полной мере непоправимая вина тех доблестных стратегов, которые четыреста лет назад, когда Эллада была еще свободной, праздновали преступные победы над соплеменниками-греками при Левктрах, Коронее и Коринфе.

Еще за полвека до Плутарха историк Полибий с горечью писал о том, как приходят в запустение некогда процветающие города и целые области, а сейчас вся Ахайя была бы не в силах набрать тех трех тысяч гоплитов, которых сумела выделить во времена персидского нашествия одна только маленькая Мегара. Уже мало что связывало между собой потомков тех, кто пятьсот лет назад победили восточных варваров при Саламине и Платеях, и перед каждым из греков стояла теперь лишь одна главная, с каждым поколением все более трудная задача — выжить и уцелеть.

В одном из «Сравнительных жизнеописаний», главном труде своей жизни, Плутарх писал о кизиловом дереве, которое выросло из посоха, воткнутого в землю Рому лом, основателем Рима: «Последующие поколения чтили и хранили его как одну из величайших святынь и обнесли стеной. Если кому-нибудь из прохожих казалось, что дерево менее пышно и зелено, чем обычно, что оно увядает и чахнет, он сразу же громогласно извещал об этом всех встречных, а те, словно спеша на пожар, кричали: „Воды!“ — и мчались отовсюду с полными кувшинами». Это кизиловое дерево засохло в тот год, последний год республики, когда консулу Гаю Юлию Цезарю, замыслившему государственный переворот, приснилось в ужасном сне, что он насилует собственную мать. Этой матерью была Римская республика, против которой он повернул свои легионы, перейдя реку Рубикон. Кизиловое дерево погибло вместе со свободой римского народа, потому что до него уже не было дела тем восточным и западным провинциалам, которые устремились в столицу империи, чтобы превратить ее через два — три столетия в новый Вавилон.

Для афинян таким общим деревом была священная олива, подаренная им в незапамятные времена самой богиней Афиной. При жизни Плутарха эта олива еще существовала, притулившись у храма древнейшего хтонического бога Эрехтея, неприметная и старенькая, но все еще почитаемая. Дерево продолжало жить, и поэтому время от времени казалось, что не все еще потеряно и что Дева-Паллада не оставит свой город, не даст ему превратиться окончательно в заросшие сорняками руины. Что же касается остального населения Эллады, всех греков, то у них никогда не было такого общего дерева. И, может быть, потому, что с тех самых пор, как в Грецию двинулись более тысячи лет назад с севера племена, положив конец царствам Микенского времени,

между этими племенами никогда не было единства, поэтому, и оказалась не особенно долгой свободная жизнь греков.

Обманутые демагогами и преданные своекорыстными богачами, греки за триста лет до Плутарха, когда македонский царь Филипп начал наступление на греческие города, навсегда перестали быть хозяевами собственной судьбы. Потом, вместе с другими народами и государствами эллинистического мира, они попали под пяту Рима. Превратившись в своем большинстве в бесправный и полуголодный люд, потомки отважных северных воителей натерпелись с тех пор стольких бед и страданий, что сама память о героическом прошлом как-то потускнела и стерлась. И то, о чем писали в V в. до н. э. поэты Эсхил и Софокл, историки Геродот и Фукидид, все больше казалось имеющим мало отношения к теперешнему населению Ахайи, как будто речь шла о каком-то ином, навсегда исчезнувшем народе. Да так оно, в сущности, и было. «Уже невозможно представить себе величие былых поколений, славу того, что они совершили и претерпели, глядя на их нынешних потомков, — писал в связи с этим знаменитый оратор Дион Христом. — Камни, те скорее свидетельствуют о значительности и величии Эллады, а равно и развалины строений — тех же, кто селится в них и составляет гражданство городов, никто не счел бы даже потомками мессенцев! Право же, по моему мнению, городам лучше было бы окончательно вымереть, чем быть населенным подобным образом».

Но, возможно, пламенный Христом был слишком строг к соплеменникам в их историческом поражении — люди бессильны перед неумолимым временем и бесполезно требовать от старика стать вновь молодым, хоть ты вывари его в колбасном котле, как это сделал со своим героем — Афинским народом великий Аристофан в своей комедии «Всадники». К тому же вклад греков в общее развитие цивилизации был так велик, что усталость и опустошение были неизбежны. Хотя и теперь еще оставались такие, которые стремились поддерживать традиции эллинской культуры — театральные представления, философские школы, состязания певцов и поэтов, предания и мифы, хранящие память о тех незапамятных временах, когда на этой земле жили люди совсем иного вида и языка — пеласги, кавконы, мессенцы — и темнокожий певец Орфей умирал своей музыкой хищных зверей, давно уже вымерших.

Еще оставались греки, не утратившие характерные для своего народа любовь к образованности, непритязательность в одежде и еде, приверженность высокому умствованию и искусствам. «Вскормленные на сочетании философии и бедности», они из последних сил стремились остаться достойными былого величия эллинов и при этом прекрасно понимали, что все подлинное, настоящее у них осталось позади, а то, стоящее внимания, что еще иногда появлялось, было «все заемное». Но, несмотря на все это, на засыхающем эллинском древе, уходящем своими корнями в глубины минойских и эгейских времен, еще распускались время от времени последние пышные цветы и Греция напоследок являла миру такие неповторимые таланты, каким был Плутарх.

Рассказывать о жизни Плутарха, не особенно богатой внешними событиями, это значит рассказывать о его многолетних философских размышлениях и творческих исканиях, о неустанном стремлении понять закономерности истории и движущие силы человеческого бытия. И главное — о его стремлении ответить на важнейший вопрос — почему же все так произошло, почему совсем недолгим, по сравнению с восточными царствами, оказалось пышное цветение Эллады. Ответа на этот вопрос он, представляется, так и не нашел.

Глава 1. Начало пути

*Отрочество наших дней щедрее плодами,
но их младенчество нам милее.*

Луций Анней Сенека

Плутарх родился где-то между 46 и 51 годами нашей эры в Херонее, небольшом городке Беотии, которая и в более благополучные времена не отличалась особенным богатством, а теперь и вовсе запустела. Ее лучшая пора осталась далеко, в почти мифическом прошлом, когда на этой земле жили совсем другие люди, иного вида, языка и происхождения. Не исключено, это были те из уцелевших обитателей Эгеиды, затонувшей во время Дарданова потопа, которые впоследствии начали закладывать здесь основы городской жизни и культуры. В Беотии, задолго до прибытия туда греческих племен, царствовал несчастный царь Эдип, сам лишивший себя очей, не сумевших увидеть истину, а его сыновья, Этеокл и Полиник, мечами делили под стенами Фив отцовское наследство. Спустя много столетий об этом написал свои прекрасные трагедии афинянин Софокл, для которого полумифическое, скорее всего чужое прошлое воспринималось как начало эллинской истории.

Восемьсот лет назад в Беотии слагал свои поэмы Гесиод, горестный свидетель уходящего патриархального мира и нарастающей силы того железного, пятого в истории человечества века, который, как в тщетном отчаянии предвидел поэт, может оказаться последним. Божественный Пиндар, лебедь с белыми крылами, воспел в своих одах дерзновенную молодость уже эллинской Беотии. Долгое время беотийцы славились как лучшие в Греции земледельцы.

А потом пошли бесконечные стычки с соседями, прежде всего с афинянами. В этих междоусобных распрях старинные города настолько себя обескровили, что стали почти не сопротивляющейся добычей вторгшихся в середине III в. до н. э. полуварваров-македонцев. Царь Александр разрушил Фивы, чтобы преподать наглядный урок всем тем грекам, которые еще питали какие-то надежды на сопротивление. Потом Фивы были отстроены снова, но ко

времени Плутарха, после нескольких опустошительных вторжений и пожаров, они совсем обезлюдели, запустели и превратились в небольшое селение. На заросших сорняками площадях постепенно разрушались старинные храмы и общественные здания, а все население умещалось теперь в домишках Кадмеи — бывшего Акрополя, сохранившего имя основателя города, финикийского царевича Кадма.

Когда почти за сто лет до рождения Плутарха здесь появились легионеры Луция Корнелия Суллы, знаменитого полководца последнего столетия Римской республики, беотийцы, в том числе и херонейцы, измученные бесконечными войнами с соседями, не оказали особого сопротивления. Некоторые даже вступили в римское войско, чтобы двинуться вместе против ахейского царя Архелая, угрожавшего беотийским городам. Сулла писал в своих «Воспоминаниях», что херонейцы сами обратились к нему с просьбой не оставить их в беде. С тех пор херонейцы оставались верными римлянам, хотя в последующие годы, когда не только Италия, но и Греция превратились в арену ожесточенной борьбы между сторонниками и противниками Республики, им пришлось претерпеть немало унижений и бед. Так, прадед Плутарха Никарх рассказывал о том, как в дни его молодости римляне заставили херонейских граждан переносить к морю в тяжеленных заплечных корзинах хлеб для войска Антония, воевавшего тогда с Октавианом, будущим императором Августом. Римские легионеры подгоняли их бичами, как рабов. А когда они вернулись, отмерили еще столько же и уже готовы были взвалить им на плечи, когда пришла весть о поражении Антония, и это спасло город: управители Антония и солдаты тут же бежали, а хлеб граждане поделили между собой.

Когда же жизнь в Риме вошла в уже новые берега, божественный Август, первый римский император, который всегда отдавал должное великой культуре Эллады, обратил благосклонный взор на угасающие греческие города и даровал им кое-какие послабления. Впоследствии в Херонею был даже назначен специальный прокуратор, в обязанности которого входило не дать городу захиреть окончательно. И поэтому Плутарх вырос в более или менее спокойной обстановке, когда уменьшающееся с каждым годом население провинции Ахайя ухитрялось изыскивать какие-то средства к существованию, соседи

навсегда угомонились и казалось, что жить еще можно и даже как будто бы что-то есть впереди. Тем более что его семье удалось сохранить родовое добро, они имели надежные средства к существованию и могли позволить себе жить благоустроенной жизнью подобно свободным гражданам былых времен, занимаясь умственными занятиями и общественной деятельностью.

О том, как жила его семья, какой порядок был заведен в доме, кто чем занимался, известно из сочинений самого Плутарха, в которых он упоминает о своем прадеде Никархе, деде Ламприе, отце, к сожалению, так и не назвав его имени, о братьях Тимоне и Ламприе. В то время как многие из тех, чьи деды были купленными на рынке рабами, теперь старательно сооружали себе родословное древо, и чтобы непременно от древнего героя или полубога, Плутарх постоянно подчеркивал, что он ведет происхождение от свободных граждан Эллады. Его отец держал породистых лошадей, брат Тимон, не питавший склонности к философии или же литературе, проводил время в дружеских пирушках. Вечерами в их доме собирались для застольных бесед друзья отца и деда, летом — под сенью старой груши, в зимнюю непогоду — в уютной столовой, возле медной жаровни на изогнутых ножках. Обсуждали местные новости, слушали рассказы прибывших из Италии, Египта или Сирии, делились воспоминаниями. Присутствовавший на этих беседах еще мальчиком Плутарх услышал здесь много интересного, о чем поведал впоследствии в своих сочинениях. Так, старый врач Филот, приятель его деда, рассказывал, как в бытность свою в Египте он познакомился с одним из поваров самой царицы Клеопатры, как тот провел его во дворец и показал, какой роскошный обед готовится на царской кухне. А было это как раз в самый разгар любви Клеопатры и римлянина Антония.

Затрагивали на этих беседах и дела в государстве. Побывавшие в Риме рассказывали о страшных и невероятных вещах, которые творились при дворе императора Нерона, прозванного Агенобарбом за рыжий цвет волос. Поговаривали о том, что вместе с матерью Агриппиной он отравил своего предшественника, довольно безвредного Клавдия, а потом они сжили со света претендующего на престол Германика. Затем пришла очередь самой Агриппины, которой сынок подстроил кораблекрушение, и жены Октавии, с которой

император сначала развелся из-за любви к несравненной Поппее Сабине и отправил в изгнание, но потом все-таки умертвил. Император издевался над нобилиями, заставляя старых сенаторов сражаться друг с другом в гладиаторских доспехах, и сыпал в театральную толпу тессеры — талоны на зерно, одежду из государственных запасов, на золото, рабов и жемчужины. Он любил кифаредов, актеров и гладиаторов, и римский народ с симпатией относился к императору, нисколько не сочувствуя поверженной знати.

Собравшиеся в доме Плутарха на вечерние беседы слушали все это, не выражая ни возмущения, ни удивления — для них это все были вещи посторонние. Чужими были для них и нобили, и кровожадная римская чернь, и вся эта жизнь — словно бы антипод тем греческим обычаям и нравам, которые они старались из последних сил сохранять. Они бы так жить никогда не смогли, им незачем было об этом и знать, и важным было только одно — как настроен сейчас император по отношению к грекам, к которым он вообще-то благоволил.

Все свое осталось у них навсегда позади, их главным достоянием была память о прошлом, и Плутарх с детских лет жил в атмосфере местных преданий о героях и достопамятных событиях: об основателе города Хероне, которого считали одним из земных сынов бога Аполлона (тоже, кстати, пришедшего из далеких догреческих времен), об амазонках, безмужних женщинах-воительницах, вторгшихся в Беотию с северо-востока задолго до Троянской войны, о знаменитом прорицателе Перипольте. Плутарх слышал об этом столько раз, что со временем все эти давно не существующие люди сделались для него более живыми и настоящими, чем обыватели — соседи и даже обитатели римских дворцов. Ему приходилось видеть найденные при обработке земли наконечники варварских копий, сохранившиеся в болотной трясине обломки мечей и панцирей, и эти свидетельства битв его предков с вторгавшимися время от времени северными племенами всегда представляли для Плутарха значительно больший интерес, чем привезенные с Востока или же из Италии диковинки.

Вместе с братьями Тимоном и Ламприем, ставшим впоследствии философом-перипатетиком, Плутарх получил традиционное эллинское образование, когда, как писал в свое время Платон, каждому из изучаемых предметов учатся «не как будущему своему ремеслу, а лишь ради общего образования, как это подобает частному лицу и

свободному человеку». И в то время как многих юношей из менее состоятельных семей готовили в секретари, домашние учителя или врачи, надеясь, что им удастся найти хорошее место в более благополучных провинциях или даже в самом Риме, в семье Плутарха заботились прежде всего о воспитании нравственных качеств юношей. И родители, и учителя стремились привить им любовь к высоким занятиям и главное — приучить уже с ранних лет разумно управлять «строптивым и безудержным конем души». Воспитанию разума и добродетели служили музыка и поэзия, прежде всего Гомер, Гесиод, Эсхил и Софокл, много раз читанные исторические сочинения Геродота, Ксенофонта и Фукидида, труды великих философов. Достижению сноровки и силы были призваны служить атлетические упражнения и игры. Греческие юноши продолжали проводить полдня в палестрах и гимназиях, но это было больше данью традиции: в настоящих атлетических состязаниях теперь мало кто участвовал, а в императорскую армию греков почти не брали, так как с каждым поколением они все больше уступали в крепости и храбрости мощным северным наемникам.

Плутарх вырос в доме, где царили, по его собственным словам, «незлобие, умеренность и кротость», где каждый стремился, если даже случится какая ссора, поскорее забыть самый день, в который поссорились. Он с детства привык в семье, в своем деде и отце, а когда их не стало — в братьях видеть главную опору в становящемся все более неустойчивым бытии. И в то время как вокруг сплошь да рядом братья и сестры враждовали, судились, сживали Друг друга со света из-за денег или наследства, Плутарх навсегда усвоил, что «братья — как пальцы на одной руке, и тот палец, который не пишет, не касается струн инструмента, не становится от этого менее полезным, чем другие, ибо у каждого своя обязанность и у всех различные природные достоинства». В непрекращающейся брани даже между близкими родственниками он всегда видел страшнейшее из зол, от которого мог окончательно погибнуть весь их общий мир, и впоследствии всегда стремился предостеречь от этого собственных детей и учеников. «Такой человек, который находится во вражде со своим братом и приобретает себе друга на агоре или в палестре, — писал он в трактате „О братской любви“, — делает то же самое, как если бы он по доброй

воле отрезал себе состоящую из плоти и сросшуюся с ним часть тела, чтобы приставить себе, скажем, деревянную ногу».

Где-то около 65 года отец отправляет Плутарха в Афины поучиться, как это велось исстари в состоятельных семьях, у тамошних философов. Древний город Паллады, основанный еще в минойские, а может быть, и более ранние времена, уже не был блистательным «Оком Эллады», средоточием греческой образованности и славы, как пятьсот и даже еще четыреста лет назад. Пережив период тяжелого упадка, превратившись в первые десятилетия после македонского завоевания, когда почти все жизнеспособное население было уничтожено или же разъехалось кто куда, в жалкое скопище нищих старух и ребятишек без отцов, Афины стали понемногу обретать прежний облик только при благосклонной поддержке первых римских императоров. Город подремонтировали, почистили и опять сюда стали съезжаться любители греческого театра и философии, а некоторые знатные и богатые римляне, еще не расставшиеся окончательно с республиканскими идеалами, подолгу жилали в Афинах, подальше от непредсказуемости новых властителей Рима. Многие из них давали городу деньги на строительство общественных зданий, на праздники, зрелища и раздачи. Афиняне, со своей стороны, выносили в их честь благодарственные постановления, воздвигали еще при жизни статуи и даже посвящали благодетелей в Элевсинские мистерии, которые вели происхождение от начала земледелия на этой земле и на которые в старину допускались лишь немногие. Не отставали от римлян и состоятельные греки из Азии, некоторые из них даже принимали афинское гражданство, щедро расплачиваясь за это.

Конечно, и представления в старинном театре Адониса у подножья Акрополя, и философские занятия в Академии, в школах последователей Эпикура и Зенона, и возобновившиеся празднества в честь древних эллинских богов — все это было бледным отражением былой интеллектуальной и творческой мощи Эллады, но ничего другого больше не было. Даже если в лучшую пору Греции большая часть того, что составляло ее культурное наследие, было создано в Афинах, то о чем же можно было говорить теперь, в состоянии их общего непоправимого упадка?

И если Афины по-прежнему могли показаться «прекрасными и всеми воспетыми», так это главным образом из-за великолепия архитектуры, перед которой, казалось, было бессильно само время. Впечатление молодого Плутарха от сверкающих в утреннем солнце храмов Акрополя было, наверное, одним из самых сильных в его жизни. Как и в жизни всех тех, кому выпало счастье подниматься к Пропилеям по пологому склону древнего утеса, чья скалистая твердь проглядывает сквозь тонкий слой почвы и непонятно, как держатся в ней коренастые узколистые деревья. Парфенон, казавшийся совсем небольшим и изящным снизу, из города, подавлял вблизи грандиозной своей красотой, и человек чувствовал все свое ничтожество у подножия его мощных ребристых колонн. Сам Плутарх так писал о неповторимом творении Иктина, Калликрата и Фидия, о всех сооружениях Акрополя: «По красоте своей они с самого начала были старинными, а по блестящей сохранности они доныне свежи, как будто недавно окончены. До такой степени они всегда блещут каким-то цветом новизны и сохраняют свой вид не тронутыми рукой времени, как будто эти произведения проникнуты дыханием вечной юности, имеют не стареющую душу». Да так оно и было: в блистательном памятнике «золотого периклова века» навсегда осталась дерзновенная душа греков самой лучшей их поры, ликующее торжество победителей восточного варварства, которым казалось тогда, что их могущество будет вечным.

За четыре — пять лет, проведенные в Афинах, Плутарх изучил, наверное, каждый уголок, подробнейшим образом осмотрев все, что еще оставалось от славного прошлого, — старинные храмы, общественные здания, некоторые из еще сохранившихся домов выдающихся людей времен демократии, многочисленные стелы, статуи, надгробья. Для него были важны и драгоценны все свидетельства истории афинян, о которых он упоминает в своих сочинениях: и остатки корабля, на котором Тезей привез спасенных от Минотавра юношей и девушек, и бронзовый бюст Фемистокла в Пирее, той гавани, которую он без устали наполнял кораблями в предчувствии вторжения персов. Дом Фокиона, одного из последних афинян патриархального чекана, был столь же непритязателен, как и его хозяин, пытавшийся из последних сил убедить свой народ жить умеренной жизнью, наполненной трудом: дом был «украшен медной

обшивкой, а в остальном незатейлив и прост». Плутарх посетил подземное убежище Демосфена, где великий оратор, страстный защитник эллинской свободы, упражнялся, согласно преданию, в красноречии. Был предан согражданами Демосфен, умерщвлен честный Фокион — такие люди не были нужны презревшему традиционные ценности афинскому демосу, впереди у которого уже не было ничего, кроме тусклых веков несвободы и угасания.

Плутарх читал надписи на памятниках в Кенотафе — и один за другим проходили перед ним стратеги, политики, философы и поэты, из размышлений, деяний и подвигов которых слагалось афинское величие.

Постепенно для Плутарха открывалась история свободных Афин, к событиям и героям которой он будет постоянно возвращаться в своих произведениях: от той мифической поры, когда царь Кекроп, возможно, пеласг или даже потомок титанов, заложил здесь в незапамятные времена город, и до того ясного осеннего дня, когда три века назад во время празднования священных Элевсинских мистерий показалось в облаке пыли македонское войско.

Вину за то, что история афинян, да и остальных греков, повернулась так трагически непоправимо, Плутарх возлагал прежде всего на тех стратегов, которые осаждали, бывало, эллинские же города, словно варварские крепости, а также на алчных демагогов, скликавших друг друга на трибуну в народном собрании как «на золотую жатву». Но так же как и для Платона или Аристотеля, для него осталась до конца не ясной глубинная причина печального перерождения: как могло случиться, что все эти клеоны, демады, стратоклы, невежественные и подлые, смогли так окрутить народ, развратить его подачками и лестью, чтобы в конце концов совершенно погубить? И когда свободолюбивый и деятельный афинский демос — моряки, купцы, ремесленники и строители — превратился по большей части в охлос, в праздную, падкую на дармовые угощения толпу, в обывателей, хвастающих друг перед другом кто мальтийской собачонкой, кто ручной галкой в медном шлемике, сидя на мраморных полукруглых скамьях под тенистыми платанами, привезенными когда-то полководцем Кимоном из Персии, тогда и окончилась на веки вечные афинская свобода. И понадобились годы, прежде чем Плутарх пришел к какому-то выводу и стал видеть причины всего этого в

старении народа, в его исторической исчерпанности, в независимом от людей безжалостном течении времени.

В годы обучения Плутарха власть в Афинах находилась в руках нескольких богатых семей, имевших покровителей в Риме. Соревнуясь между собой за влияние в городе, они были не прочь показать себя радетелями за народное благо, обольщая афинян несбыточными надеждами на восстановление старинных обычаев и некоторых демократических порядков под императорской эгидой. Беднота же пробавлялась кто чем мог — поденной работой, перекупкой, сводничеством, воровством — и выходила на улицы с камнями и палками, если жизнь становилась уж слишком тяжелой. Образованные люди с достатком стремились стоять в стороне от всяких смут, вот уже несколько веков (со времен оратора Эсхина, призывавшего македонского царя Филиппа завоевать Афины и отправить беспокойный сброд скопом воевать с персами) питая больше доверия к чужеземным господам, чем к собственному простонародью. Хорошо устроенные люди дорожили своим устоявшимся бытом, считая, что теперешнее положение дел предоставляет больше возможностей для спокойного времяпрепровождения и умственных занятий, чем известные им по Фукидиду бурные и опасные годы вырождающейся демократии. И действительно, Анаксагор и Фидий, Протагор и Сократ, Эсхил и Еврипид, чьи труды и идеи прославили Афины, каждый так или иначе подвергся преследованиям народа, удалился в изгнание или даже был умерщвлен, но то, что они создали или же сказали, осталось на века. Что же до занимающихся философией или литературой современников Плутарха, императорских подданных, то тщетно было бы ожидать от них чего-то нового, все у них было «заемное» — и мысли, и образы, и слова.

Относительно философа Аммония, у которого учился Плутарх, есть предположение, что он был перипатетиком, последователем Аристотеля. Однако воспоминания самого Плутарха, его всегдашняя приверженность к учению Платона позволяют говорить о том, что он учился в Академии. Он постоянно возвращается в своих сочинениях к этой поре своей жизни, вспоминает наставника Аммония, товарищей по занятиям философией — Фемистокла и Соклара, римлянина Сосия Сенециона — и себя самого, полного неумемной любознательности, веры в жизнь и юношеского любования всем белым светом. В

«Пиршественных беседах» и «Пифийских диалогах» Плутарх пишет о том, как «со страстью изучал математику, музыку и философию», с жадностью приобщаясь к бесценной сокровищнице эллинской образованности.

Аммоний, человек суровый и строгий, бывший одно время стратегом и имевший большое влияние в городе, презирал тугодумов и лентяев. В учениках он ценил пытливость ума и тягу к познанию, остальные же были для него «те, что без разума и без души». Больше всего он заботился о религиозности и нравственности юношей, о том, чтобы они твердо усвоили теперь уже многими отвергнутые принципы, согласно которым жили их предки. Одаренный и начитанный, с увлечением отдающийся разнообразным занятиям юноша из Херонеи был как будто бы среди любимых учеников Аммония. Он нередко приглашал его в свой дом, где собирались ученые люди из Афин и других городов, и на этих непритязательных трапезах, в пространных, неторопливых беседах перед Плутархом открывался неповторимый мир высшего эллинского умствования, теперь уже мало кому доступный и интересный.

Шел второй год учебы Плутарха, когда всю Ахайю взбудоражила новость, что сам божественный Нерон, до этого ни разу не покидавший Италию, намерен принять участие в играх на Истме, в Афинах и Олимпии, а также выступить с пением в Коринфе и Дельфах. К этой поездке императора побудили сами же греки, постановив посылать ему венки с каждого из музыкальных состязаний — как бы за заочное участие. Когда венки первый раз прибыли в Рим, Нерон пригласил посланцев отобедать, а затем исполнил специально для них разученную арию. Еще больше растроганный тонкими похвалами и «мерными рукоплесканиями» греков, император тут же заявил, что он отправляется в Элладу, чтобы оправдать делом заранее полученные награды.

В Ахайе были достаточно наслышаны об артистических увлечениях императора, который обучался музыке у известного кифареда Терпна и в ранней молодости выступал во время Троянских игр. Хотя недоброжелатели потихоньку посмеивались над его якобы сильным и слабым голосом, Нерон, уже будучи императором, продолжал выступать перед переполненным театром с декламацией стихов и пением, а в последние годы стал радовать слушателей

длинными музыкальными композициями, сопровождая себя на кифаре. Был случай, когда во время его выступления в Неаполе театр внезапно содрогнулся от сильного подземного толчка, однако император невозмутимо допел свою арию до конца. Нерон любил повторять, что по природе своей он прежде всего художник, артист, хотя, к сожалению, вынужден заниматься нудными делами правления. Путешествие по Греции он рассматривал как заслуженную награду от Муз и пел перед такими же, как сам он, ценителями прекрасного, счастливо и самозабвенно, пел, как вскоре оказалось, в последний раз.

Едва сойдя с корабля, император выступил с пением сразу же в Кассиопее, первом греческом городе на его пути, а потом объехал одно за другим все состязания. По такому случаю было решено совместить в один год все главные игры и провести, вопреки обычаю, музыкальные состязания даже в Олимпии. Снискав, как и ожидалось, оглушительный успех, Нерон пожелал принять участие и в конных ристаниях, однако здесь его постигла неудача: на всем скаку выброшенный из колесницы, он сошел с арены. Олимпия замерла в ужасе, но все обошлось — незадачливый атлет был награжден еще одним венком и успокоился. Он продолжал с азартом присутствовать на состязаниях по борьбе, сидел на земле между судьями и если какая-то пара отходила, на его взгляд, слишком далеко, вскакивал и своими руками толкал ее на место.

Сохранилось предание, что во время выступления Нерона в Дельфах туда приезжал и Аммоний с учениками, так что шестнадцатилетний Плутарх мог воочию видеть и оценить разносторонние дарования «актера на троне». Еще дома в Херонее, а затем в Афинах он немало слышал о странных причудах властителя, окружившего себя кифаредами и гладиаторами, одному из которых он даже поручил управлять государством на время своего отсутствия. Из Рима доходили зловещие слухи о неожиданной и безвременной гибели матери, жены и малолетнего пасынка императора. О том, как он, последний в знатнейшем роду Клавдиев, ведущем как будто бы начало от древних сабинских царей, прямо-таки ненавидит старинную аристократию, заставляет нобилей сражаться друг с другом как гладиаторов и плясать с шестом в руках на канате, как посылает наем-приказ умереть своим лучшим друзьям из изысканных провинциалов и те вскрывают себе вены в теплой ванне. В окружении Плутарха

внимали всему этому довольно равнодушно, их волновало только одно — отношение императора к грекам.

Обывателям провинции Ахайя не было дела до беспощадной борьбы между Нероном и старинной аристократией, утратившей власть с падением Республики, но, видимо, от этих нобилей греки сами немало натерпелись. Им казалось также совершенно естественным, как писал об этом впоследствии Плутарх, что «если цари любят музыку, их царствование производит множество музыкантов, если ученость — расцветают науки, если любят борцовские состязания — умножается число атлетов». Вызывало понимание и то, что император, влюбившись в вольноотпущенницу Акте, даже хотел было на ней жениться, а также то, что одарил дворцами триумфаторов кифареда Менекрата и гладиатора Спикула. С особенным же одобрением в Ахайе воспринималось то, что в Риме были учреждены Неронии — пятилетние состязания по греческому образцу, из трех отделений — музыкального, гимнастического и конного. По приказу императора на эти Нерониях, вопреки римским обычаям, должны были присутствовать даже весталки, в состязаниях участвовали достойнейшие из граждан, а сам он исполнял, спустившись в оркестру, свои любимые произведения. И грекам хотелось надеяться, что если уж новым римским властителям так нравятся эллинские обычаи, то частица внимания достанется и им, прямым наследникам их великой культуры, что есть основания рассчитывать на какие-то милости и послабления.

Император, выступивший в Дельфах в «Оресте-матереубийце» и «Ослеплении Эдипа», оказался среднего роста человеком, с полным белым лицом и невыразительными глазами. Его длинные не по римскому обычаю волосы были завиты правильными рядами, из-под шелковой хламиды слегка выпирал живот. Голос Нерона не отличался особенной звучностью, но пел он старательно, самозабвенно выводя самые сложные рулады. Он явно подражал модным кифаредам, хотя не выносил даже намека на это и некоторых из музыкальных знаменитостей как будто бы приказал тайно умертвить, не в силах перенести их превосходства. В целом император исполнял свои арии несколько не хуже, а может быть, даже лучше многих известных актеров, в его игре было больше чувства и меньше выпренности, сквозь которую нередко проглядывает холодное равнодушие к своему

ремеслу. Конечно, театр во все времена представлял собой нечто условное, но все же, если верить Платону, цари и герои троянского времени в исполнении знаменитых актеров казались точно живыми тем зрителям, что заполняли в его времена афинский театр Диониса. Тогда еще актеры действительно жили жизнью своих героев, словно отделяясь на просцениуме от собственной сути. «Когда я исполняю что-нибудь жалостное, — рассказывал в связи с этим один из актеров, — у меня глаза полны слез, а когда страшное и грозное — волосы становятся дыбом от страха и сердце сильно бьется».

Теперь же большинство исполнителей, по-видимому, даже не вдумывалось в смысл произносимых ими слов. И поэтому Агамемнон или же Орест уподоблялись у них мертвым слепкам с тех статуй старинных мастеров, которые казались Плутарху творением не людей, но неких божественных существ. Да так оно, в сущности, и было, потому что это создавалось в том состоянии «священного безумия», насылаемого Музами, которое уже не нисходило или же нисходило крайне редко на современников Плутарха, чьи души словно бы высохли за несколько столетий несвободы и нищеты. И потому Плутарх был равнодушен к театру, не находя в нем той пищи для разума и чувств, которую по-прежнему предоставляли с ранних лет читанные и перечитанные произведения эллинских поэтов и историков, не говоря уже о философских сочинениях. Особенно он недолюбливал комедиографов, делая исключение лишь для утонченного Менандра, считая, что если бессмертные трагедии прошлого все еще продолжают пробуждать у людей тяготение к возвышенному и героическому, то сочинителей пошлых комедий, потакающих низменным чувствам толпы, вообще нельзя причислять к служителям Муз: «Разве можно удивляться тем, кто избрал своей профессией зубоскальство, кто считает долгом приносить жертвы завистливой толпе, точно некоему злому демону, злословием над выдающимися людьми». И чем больше Плутарх углублялся в греческую историю, тем больше ему казалось, что не щадившие никого комедиографы, в том числе и великий Аристофан, отдавший на осмеяние толпы Протагора и Сократа, в той же мере повинны в разращении народа, разрастании анархии и неизбежном следствии этого — утрате их общей свободы, как и своекорыстные демагоги. Есть вещи, считал Плутарх, над которыми смеяться нельзя, а если все

становится неуважаемо, то все очень быстро и приходит к печальному концу.

Ученик Аммония смотрел на переливающиеся ярким шелком и золотом одежды императора, на его уставшее лицо с побледневшим, взмокшим лбом, но бесконечно довольного, и думал о том, о чем думали, вероятно, и другие на представлении в Дельфах — как капризна судьба. Как непонятны ее причуды, в силу которых жизнь чуть ли не всей Ойкумены зависит от этого человека, для которого было бы достаточно славы простого кифареда. Существует версия, что после выступления Нерона состоялось и своего рода философское состязание: Аммоний задавал в присутствии императора вопросы своим ученикам — об устройстве мироздания, божественных идеях и вселенском разуме. И будто бы именно здесь Плутарх первый раз явил высокому собранию живость природного ума и необыкновенную начитанность.

Уже собираясь в Италию, Нерон объявил во время последних, Истмийских игр о том, что он дарует свободу всей провинции, а тем, кто были судьями на играх, жалует римское гражданство и денежное вознаграждение. Таким образом, как писал впоследствии Плутарх, «дважды в Коринфе было оказано Греции одно и то же благодеяние». Более двухсот пятидесяти лет назад, также во время Истмийских игр, римский сенат и полководец Тит Квинкций, победитель македонцев, объявили о возвращении свободы коринфянам, эвбейцам, ахеянам и другим грекам, которые могли теперь не содержать у себя чужеземных гарнизонов, не платить дани и жить «по отеческим обычаям». Тогда эта свобода и права очень скоро обернулись для греков бесконечными поборами и нищетой. Но «слепые надежды», которыми наделил когда-то людей титан Прометей, еще не были изжиты окончательно и вновь встрепенулись в душах греков, когда Нерон с помоста на рыночной площади опять объявил их свободными людьми, живущими согласно собственным законам. И хотя уже никто, никакими указами и милостями не смог бы превратить в процветающие полисы как бы тронутые тлением полупустые города, греки были благодарны императору за этот недолгий праздник. Сам Плутарх, всегда выделявший «актера на троне» среди других римских властителей, в сочинении «О том, почему божество медлит с воздаянием» заставляет

судей загробного мира смягчить наказание «пресловутому Нерону» за милосердие к грекам.

Перед тем как покинуть Ахайю, император решил положить начало еще одному важному делу — прорытию канала через Истм, что значительно облегчило бы мореходство и торговлю. Он первым ударил лопатой твердую землю и вынес на своих божественных плечах первую корзину. Возвратившись в Рим через пролом в стене, по старинному обычаю победителей на играх, Нерон развесил привезенные из Греции венки в своих почивальнях, рядом с собственными статуями в облачении кифареда. Философ же Аммоний с учениками возвратился в Афины, чтобы продолжать в тени старой рощи мифического героя Академа изучать труды основателя их школы, а также тех его продолжателей, прежде всего Акрисея и Карнеада, которым оказалось по силам хоть в чем-то развить грандиозные гипотезы их «достопадного отца».

Трудно сказать, почему именно идеи Платона, а также Пифагора, которого он с годами стал чтить даже больше, чем Платона, стали основой мировоззрения Плутарха. Как невозможно объяснить, почему из мыслителей, людей примерно одинакового имущественного состояния, положения в обществе и интеллектуального потенциала, одни — тяготеют к материалистическому объяснению жизни, в том числе и на Земле, а другие — ищут первопричины всего в иных, только мыслью постигаемых пределах. Впрочем, здесь прослеживаются некоторые закономерности: так, философы той поры, когда Греция была на подъеме, еще только начинала славный путь великих побед и свершений, стремились определить то материальное первоначальное вещество, из которого все потом образовалось, — Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, или же склонялись к атомистическому устройству вселенной — Левкипп и Демокрит. Хотя примерно в эту же пору Пифагор учил о переселении бессмертных душ, а неимущий и больной Эпикур, живший в период жесточайшего упадка греческого мира, был убежденным последователем атомистов.

Сочинения Плутарха свидетельствуют о том, что он был хорошо знаком с взглядами Гераклита, Эмпедокла и Демокрита, которого прежде всего ценил за этику. У Гераклита он считал наиболее важным тезис о беспредельности души — этого микрокосмоса, своего для каждого из смертных, куда устремляются во сне и который столь же

непостижимо велик, как космос внешний. И это весьма показательно для собственных философских исканий Плутарха: один из последних больших талантов печальной эпохи заката, он был довольно равнодушен к тому, что называлось тогда «общим кругом знаний». Его не снесла неутолимая жажда познать законы вселенной и гигантская «битва за понятие бытия» бессмертных эллинских философов, в которой, как оказалось со временем, не было ни победителей, ни побежденных, была для него лишь историей. С юных лет его привлекали прежде всего жизнь человеческой души, вопросы морали и этики. Как большинство его мыслящих современников, он предпочитал относить к божественному разумению те тайны природы и законы мироздания, которые многие из философов прошлого пытались объяснить исходя из законов самой же природы. Доживавшему вместе с угасающей Элладой ее последние сроки, Плутарху не хотелось верить, что этот зримый, столь несовершенный мир — единственная данность. Убеждение в том, что где-то в неисчерпаемых просторах будущего времени еще будут другой, возможно, гораздо лучший мир и другая жизнь, в которой будет доделано до конца то, что не удалось сейчас, придавало, как у множества мыслящих людей и до, и после Плутарха, глубинный смысл и этому отрезку тысячелетних странствий его бессмертной или, по крайней мере, очень долго существующей души.

Он жил в эпоху нарастающего упрощения, которое сопутствует последним фазам истории народа большой культуры, когда с каждым поколением даже среди образованных людей находилось все меньше таких, которым было под силу разобраться в философских построениях Гераклита или же Платона. Не говоря уже об Аристотеле, чьи сочинения, и прежде всего «Метафизику», даже Плутарх считал слишком сложными и доступными лишь избранным: «В самом деле, сочинение о природе было с самого начала предназначено для людей образованных и совсем не годится ни для преподавания, ни для самостоятельного изучения». Сам Плутарх из всех сочинений Стагарита, в соответствии с направленностью собственных размышлений, предпочитал «Об этической добродетели», хотя о нравственности самого Аристотеля имел невысокое мнение и особенно осуждал его за то самомнение, с которым тот стремился опровергнуть своего учителя Платона.

К сочинениям же самого Платона Плутарх обращался всю жизнь, постоянно приводя его суждения в собственных трудах. Он написал обширный комментарий к знаменитому диалогу «Тимей», а также трактат «Платоновские вопросы», где изложил свою интерпретацию Платонова учения и взгляды на его личность. Чем дальше шло время, тем больше жизнь основателя Академии, которая, по его собственным словам, была постоянным «спором между материей и доказательством», виделась Плутарху образцом подлинно человеческого существования, устремленного к высокой цели. Об этом он не раз писал в своих трактатах на морально-этические темы — «О воздержании от гнева», «О слушании», «Против Колота» и других. И в то же время, человеку более мягкого нрава, к тому же живущему в такие времена, когда было бессмысленно предъявлять грекам слишком строгие требования, Плутарху был чужд платоновский бескомпромиссный ригоризм. И поэтому, при всем благоговении перед создателем «Крития» и «Государства», он позволяет себе иногда упрекнуть своего вневременного учителя в некоторой оторванности от простой человеческой жизни, в чрезмерной суровости по отношению к людям, с их слабостями и ошибками, в которых, при более пристальном рассмотрении, они окажутся не так уж и виноваты. Плутарху всегда хотелось приблизить учение Платона к своим современникам, разуверившимся в смысле бытия. Он был одним из тех немногих, кто еще надеялся, что, приобщившись к открывшейся им высшей гармонии Вселенной, люди попробуют воплотить хотя бы частицу этой гармонии в собственную жизнь.

Но все это было потом, многие годы спустя. А пока способнейший из учеников Аммония изучал сочинения основателя Академии, обсуждал его идеи, а также труды других философов на занятиях в школе и на диспутах. С особенной страстью, как он сам вспоминал впоследствии, Плутарх занимался музыкой, той старинной возвышенной и строгой музыкой, в которой, согласно Платону и Пифагору, отражается высшая гармония сфер, вечные ритмы вселенной. С юности окруженный людьми образованными, воспитанный на бессмертных образцах эллинской культуры, не знающий нужды и каких-либо притеснений, Плутарх не так обостренно, как другие его современники, например, философ Эпиктет или уже упоминавшийся ранее оратор Дион Христором,

воспринимал их общий упадок. К тому же теперь, когда греческим городам была возвращена свобода и под благосклонной эгидой эллинофильствующего императора, казалось бы, наступали более благополучные времена, можно было надеяться на то, что способности и знания и его самого, и его товарищей смогут принести какую-то пользу все еще существующему греческому миру.

Плутарх уже завершал свое обучение, когда все земли и города облетела страшная весть о самоубийстве Нерона, преданного своим окружением. Потомки старинной римской знати не скрывали радости по поводу бесславной кончины «актера на троне», с его греческими локонами и любимчиками-гладиаторами. Население же провинций сожалело о снисходительном императоре — любителе искусств, да и в самом Риме было немало таких, которые вспоминали о нем как о заступнике и благодетеле. Не смея открыто выражать свою скорбь, эти люди из простонародья еще долго украшали гробницу Нерона цветами и выставляли его статуи подле ораторской трибуны на форуме.

В Италии же разгоралась новая смута: после того как прямо на улице был растерзан сенатский ставленник престарелый Сульпиций Гальба, борьба за высшую власть развернулась между Авлом Витгелием и Сальвием Отоном. За обоими стояли их легионы — сотни призванных под римские значки варваров, которые, как писал об этом римский историк Корнелий Тацит, «привыкнув к безделью, развращенные нищетой и распутством, жадно искали возможности ввязаться в заговоры, распри и даже гражданскую войну». Рассыпавшись по всей Италии, они грабили, насиловали и жгли, точно в завоеванной стране, и бедам этим, казалось, не будет конца. Как всегда во время смуты, зашевелились и восточные провинции, взбудораженные упорными слухами, что Нерон, живой и невредимый, скрывался до поры в каком-то тайном месте, а теперь появился в Азии и собирает войско, чтобы идти на Рим.

Как писал об этом в одном из своих сочинений Плутарх, «некто, выдавая себя за Нерона, привлек на свою сторону всю Элладу». О том, что Лженерона поддержала часть населения Греции, упоминает и Павсаний в «Описании Эллады». Самозванец был то ли раб из Понта, то ли вольноотпущенник из Италии, внешне похожий на покойного императора и довольно искусный в игре на кифаре; он собрал вокруг себя бывших солдат, всяких бродяг и рабов, вооружил их отобранным

у купцов оружием и уже готовился отплыть в Италию, как был убит. Потом появился какой-то Аникет, бывший раб, захвативший с разношерстной шайкой Трапезунд и тоже якобы собиравшийся отправиться на запад на пиратских кораблях — отвоевывать свою империю. Был и третий Лженерон, также вскоре убитый. Затем восстали Иудея, Самария и Галлилея, население которых упорно сохраняло свою веру и обычаи. Чуждые эллинской культуре, распространившейся на востоке после походов Александра Македонского, эти люди так и не смирились с владычеством Рима. Смута разрасталась и население Ахайи замерло в тревожном ожидании, опасаясь, что дарованная им свобода не надолго переживет великодушного дарителя.

Завершив обучение, Плутарх покидал Афины взрослым человеком, унося в своем сердце сияющий, точно колонны Акрополя в ярком утреннем свете, образ свободной Эллады, их славного неповторимого прошлого. Этот величественный образ, сложившийся из рассказов Аммония и его просвещенных друзей, из чтения исторических и философских сочинений, из каждодневного созерцания великолепных строений и статуй, разрастаясь с годами, заполнил Плутарха целиком и по сравнению с ним окружавшая реальность стала действительно казаться лишь бледной тенью подлинного бытия.

Глава 2. Мир обветшавший и неповторимый

*Первейшие блага для городов: мир,
свобода, изобилие, многолюдие, согласие.*

Плутарх

«Что до меня, то я живу в небольшом городке и, чтобы не сделать его еще меньше, собираюсь в нем жить дальше», — писал Плутарх где-то в середине 80-х годов своему римскому Другу Сосию Сенециону. И действительно, в то время как многие одаренные, не утратившие вкуса к искусствам и умственной деятельности греки уже со времен македонского владычества устремлялись в столицы эллинистических царей, а впоследствии в Рим, Плутарх почти до самых последних лет прожил в Херонее. Хотя он любил путешествовать, много ездил и многое повидал, каждый раз он спешил возвратиться домой с тем же чувством, с каким торопился когда-то Одиссей к бесплодным камням своей Итаки, ибо «родину любят не за то, что она велика, а за то, что она родина». Может быть, потому что он, один из последних великих талантов Греции, вобравший в себя культурный опыт многих поколений, мог жить и спокойно работать только в окружении похожих на себя людей, которых и в Херонее было совсем немного.

Здесь, в средоточии материковой Эллады, зародилась почти тысячу лет назад культура этолийцев, новый мощный побег на древних корнях, уходящих в минойские, а может быть, даже более ранние времена, когда человек разумный, покинувший тогда еще не занесенные песком средиземноморские берега Северной Африки, а затем и пещеры Передней Азии, начал понемногу осваивать окрестное пространство. Это было, по-видимому, еще до Дарданова потопа, когда земля Троады, Анатолия, острова между ними и Грецией составляли единую сушу с самой Грецией, а Понт Эвксинский был большим соленым озером. Расположенная в восточной части Эллады, Беотия была населена с отдаленнейших времен, еще с тех пор, когда человек

только начал осваивать земледелие. От множества некогда живших здесь племен, скорее всего, курчавоволосых и темнокожих, похожих на африкановидных островных карийцев, остались только некоторые названия — лапифы и пеласги. Во времена Плутарха уже никто бы не мог сказать, на каких, теперь совершенно забытых языках они говорили, да никто этим и не интересовался. Однако многое наводит на мысли о том, что эти племена были схожи с ливийцами и другими древними народами Северной Африки и именно от них к грекам перешло многое из того, что они привыкли считать искони своим. Так, даже имена богинь Афины и Афродиты, которым не была матерью Гера, супруга Зевса, напоминали об Африке. Не говоря уже о преданиях о том, что некогда, может быть, и не так уж давно, где-то к югу от Геракловых столбов, у большого африканского озера Тритон находились старинные храмы Афины и Посейдона, построенные еще в те времена, когда в самой Греции не было ничего подобного.

Потом пришел час восточных народов, вавилонян и ассирийцев, установивших господство на островах задолго до троянского времени, подчинив земледельцев и пастухов на эгейском побережье Греции (конечно, тогда у этих мест было какое-то другое название). Может быть, в это время и появился в Беотии финикийский царевич Кадм. Согласно преданиям, он отправился искать свою сестру Европу, похищенную любвеобильным Зевсом. Сам бессмертный Аполлон, тоже бог из далеких догреческих времен, дал царевичу в проводники священную корову, повелев основать город на том самом месте, где она приляжет отдохнуть. Корова остановилась у скалистой горы, названной в честь ее Турий, а возведенный здесь впоследствии храм посвятили Аполлону Турийскому.

Европа оказалась на Крите, став матерью Миноса, легендарного царя отважного морского народа, подчинившего прежних обитателей острова, вероятнее всего, родственных карийцам. Потом минойцы, прибывшие на остров частично из Египта, частично из Передней Азии, обитатели гигантских дворцов-городов Кносса и Феста, держали в страхе и повиновении окрестные племена и острова чуть ли не две тысячи лет. А Кадм, навсегда обосновавшийся в Беотии, ввел в употребление витиеватые восточные буквы и заложил основы общественной и государственной жизни.

В конце минойского времени, в XVI–XV вв. до н. э., после ужасных природных катастроф, землетрясений и цунами (когда, согласно Священному писанию, вставали волны высотой до неба), а может быть, и несколько раньше, в Грецию стали проникать с севера, отряд за отрядом, новые люди, совсем иного обличья и языка. У них были никогда здесь не виданные кони, железные тяжелые мечи, а грубые шерстяные плащи были заколоты булавками из незнакомого в Средиземноморье янтаря. Совершенные варвары по своему образу жизни, свирепые и беспощадные, они двигались, племя за племенем, волна за волной, к югу, до самого Пелопоннеса и затем переправились на Крит.

После этого, через несколько темных веков, началась собственно греческая история. Из смешения северных пришельцев, светловолосых и рослых, с местным населением появились собственно греческие народы, в том числе и беотийцы. Череда столетий стерла в Беотии следы чужеземных вторжений, яростной борьбы за хлебородные земли, но остались мощные накопления культурных традиций и обычаев, где все стало общим, своим — и лучшее во всей Элладе огородничество, и кадмовы письма, и древнее предание о злосчастном Эдипе-царе, и поэмы Гесиода, певца патриархальной поры уже нового, греческого времени, и оды Пиндара — гимн дерзновенным свершениям греков их самой славной поры. Сам Плутарх считал себя истинным эллином, и по своему образу жизни, ценностям и представлениям был действительно таковым, но в то же время своим проницательным умом, разносторонними способностями и главное — несколько отстраненным взглядом на вещи он был безусловно обязан многовековым накоплениям беотийской культуры. Эти накопления, наследие предшествующих поколений, были его главным достоянием, незыблемым островом посреди моря нищеты и несвободы. В нем творили его бесчисленные предки, и этим в значительной мере объясняются его величавое спокойствие, подлинно философское восприятие становящейся все более печальной реальности, а также главная цель его долгой и правильной жизни — постигнуть закономерности и взаимосвязи греко-римского мира, проследить все этапы этого грандиозного действия в истории человечества, которому больше не повториться. Понимая, что такая задача не под силу одному человеку, Плутарх хотел уяснить для себя

хотя бы самое главное и оставить свое понимание для будущих поколений. Отложившийся в нем опыт тысячелетий питал его непоколебимую уверенность в том, что жизнь разумного человечества не имеет конца.

Сохранить такое мировидение, не впасть во все отвергающее отчаяние было не просто, когда вокруг, на беотийской земле, как и по всей Греции, царили нищета и запустение. Только некоторым небольшим городкам, Теспиям, Акрефии и Херонее, удалось сохраниться несколько лучше, дотянув в своем подневольном существовании до той поры, когда римские властители сделались немного снисходительнее к вымирающим грекам. Теперь и беотийцы могли вздохнуть свободнее, не боясь внезапных поборов и жестоких расправ. Начиная с божественного Августа, им было милостиво позволено понемногу доживать свой век, незаметно и тихо уходя за горизонт истории. А все богатство прежней жизни, дела героев и мысли мудрецов, оставались теперь, как хотелось надеяться, лишь в виде платоновских идей или же демокритовых эйдосов, слепков со всего, что когда-либо существовало, которые заполняют околоземное пространство, ожидая нового земного проявления. Возможно, что там же остались навеки и образы пращуров Плутарха, чувства и идеи которых окружали его от самого рождения. Они словно бы продолжали жить в каждом атоме его существа, образуя невидимый замкнутый сфайрос — некую отдельную вселенную, целостную и неразрушимую. И в этом, быть может, самая главная причина того, что только на родной херонейской земле мог жить Плутарх. И даже если его оскудевающий с каждым поколением мир, их неповторимый сфайрос уже готовился отплыть в неведомые дали иного бытия, это было не страшно — ведь они уплывали вместе.

Рассказывать о жизни Плутарха — это значит повествовать о посвоему подвижническом бытии одного из последних греческих граждан, каждый день которого был заполнен не только возвышенными литературными и философскими занятиями, но и обыденными делами, ничтожными и мелкими с точки зрения философа, но необходимыми для города, которыми почти никто не хотел заниматься: обваливаются старинные здания — ну и ладно, мусор на улицах — ну и пусть. Все писавшие о Плутархе отмечают неторопливую размеренность его как бы раз и навсегда заданного

образа и ритма жизни. И действительно, уже некуда было торопиться, оставалось лишь добросовестно доиграть до конца свою роль, как учил Платон, чтобы с достоинством покинуть просцениум, на который уже торопились другие протагонисты.

Теперь в их жизни не было мелочей и все, как не раз подчеркивал Плутарх, имело значение: и внешний вид, и хорошие манеры, и умение строить отношения. Навсегда определенные в тот слой людей, которые считаются в целом ненужными для государства и поэтому с ними не церемонятся, соотечественники Плутарха могли только настойчивым сохранением традиционного образа жизни каждый день доказывать и себе, и другим, что они еще существуют и что они еще треки. Как ни странно, но оказалось, что и политическая несвобода, и отсутствие больших общественных дел имеют свои положительные стороны. Теперь можно было, если, конечно, позволяли средства, обустроить по своему вкусу дом, вести спокойный, здоровый образ жизни, проводя свободное от общественной деятельности время за пением, философскими и литературными трудами. Хорошо было по утренней свежести побродить по окрестным холмам и полям, а вечер провести с друзьями за чашей хорошего вина. Теперь, как отмечал с иронией Дион Христомом, «„отнюдь не являлось мелочью полная достоинства осанка, тщательный уход за волосами и бородой,“ тененная поступь на улицах, приличествующая одежда, хотя бы это показалось смешным, узкая пурпурная кайма, спокойное поведение в театре, умеренность в рукоплесканиях». Оставалась возможность хотя бы внешне походить на свободных греческих граждан былых времен, и отличие от суетливых киликийцев, сирийцев и прочих восточных людей, обосновывающихся понемногу в старинных городах Эллады.

Унаследованный от деда и отца достаток позволял Плутарху держаться независимо, не заискивать перед новыми хозяевами жизни и не изворачиваться, как многие вокруг, — те самые «грекули» (гречата), о нечестности и лживости которых предупреждал уже сто лет назад римлянина Марка Туллия Цицерона его брат, служивший в Греции. Дом Плутарха, где старались сохранять идущий от предков порядок, был одной из последних цитаделей угасающего эллинизма. Таких семей, где главной ценностью считался бесконечный «урожай сменяющихся Друг друга детей и юношей», становилось все меньше, так как греческие женщины почти не рожали детей, инстинктивно не

чувствуя смысла в продолжении рода, и благополучные многодетные дома казались островами среди бедности и нравственного оскудения. Плутарх мог бы жить для себя, для семьи и для творчества, как жили многие не только в Греции, а теперь и в Риме, но он продолжал, как учили дед и отец, служить обществу, исполняя самые скромные обязанности и считая эту службу не менее достойной, чем умственные занятия. В свое время Демосфен писал о том, что нельзя сохранять возвышенный образ мыслей, занимаясь ничтожными делами. Словно споря с этим последним из вожаков свободного афинского демоса, Плутарх, не видя в этом никакого противоречия с философскими и литературными занятиями, с неослабевающей настойчивостью заботился о том, чтобы его выбеленная, чистенькая Херонея хоть в чем-то походила на ухоженные городки времен Пиндара или же Эпаминода, а столь же прилично выглядящие горожане степенно обсуждали бы на сходке свои дела. Ему хотелось, чтобы хоть внешне все выглядело так, как в лучшую пору беотийцев, тем более что теперь, когда были казнены у подножия Капитолия вожаки непокорных иудеев, замиренны батавы, треверы и другие зашевелившиеся было северные варвары и порядок в империи, казалось, был обеспечен при твердом правлении императора Веспасиана, это казалось вполне достижимым.

Всю жизнь оставаясь приверженцем политической свободы и демократии, Плутарх в то же время понимал, что этого грекам не вернуть никогда, воспринимал власть Рима как окончательную данность и, подобно основателю стоицизма Зенону, стремился сделать как можно больше для своих соплеменников в тех обстоятельствах, в которых им выпало жить. Волнения и бунты в провинциях на Западе и в Азии — все это словно не существовало для Плутарха и он лишь иногда в двух словах упоминает о том, на чем подробно останавливаются римские историки. Как истинный эллин, следуя заветам Аристотеля, Плутарх, при всей мягкости своей натуры и глубоком гуманизме, продолжал только в греках, да разве что в знатных римлянах видеть подлинных людей, создателей культуры и разумного общественного устройства. И к этому не имели никакого отношения разноплеменная голытьба, собиравшаяся вокруг Лженеронов, длиннобородые иудеи, с ожесточением защищавшие свои религиозные установления, или же, о чем приходилось все чаще

слышать, проповедники какого-то нового учения то ли философа, то ли софиста, распятого в Иерусалиме. Поэтому у имеющих более или менее надежное положение греков встречали понимание те меры, которые принимал по упорядочению дел в государстве сын Справедливого сборщика налогов, как прозвали веспасианова отца провинциалы. И не имело никакого значения, что Веспасиан был совершенно равнодушен к искусствам и мог заснуть во время музыкального представления, за что был в свое время отправлен Нероном в изгнание.

В самый разгар междоусобицы, начавшейся после гибели Нерона, шестидесятилетний Веспасиан, добросовестно отслуживший римскому народу чуть ли не сорок лет во Фракии, Германии, Африке и на Крите, находился для наведения порядка в Иудее. Сначала он был призван к высшей власти собственным войском, а затем известному своей рассудительностью и рачительностью служаке присягнули на верность, как писал об этом римский историк Гай Светоний, «все приморские провинции, вплоть до границ Азии и Ахайи, и все внутренние, вплоть до Понта и Армении». Присягнули потому, что местная знать и состоятельные люди, опасаясь римской власти меньше собственной бедноты и окрестных варваров, были заинтересованы в установлении прочного мира и спокойствия. Веспасиан был из тех «новых людей», таких как знаменитый оратор и политик Марк Туллий Цицерон, которые уже в последнее столетие Республики доходили до самых высоких должностей. Время подлинных римлян, какими нобили, аристократы сами себя считали, потомков вторгшихся в Италию еще в троянские времена воинственных людей с северо-востока, уходило навсегда, вернее, уже ушло. Положение империи казалось непоколебимым, однако у многих родовитых людей, еще сохранявших традиционные римские качества, крепло понемногу ощущение того, что со смертью последнего из Клавдиев, каким бы ужасным он ни был, прежний Рим окончился навсегда. Они уже различали признаки того, что ждало их впереди, — последнее действие того блистательного и грозного представления на театре всемирной истории, какими были деяния римлян, а дальше оставалось лишь одно — не растерять славы предков, как ее растеряли некогда не менее сильные народы. Теперь у кормила государственной власти нужны были люди, способные сохранить достигнутое и даже больше

— замедлить по возможности вращение колеса истории, может быть, именно такие, как плебейский полковник из сабинской деревушки Фалакрины, с его здравым смыслом и простонародной хитростью, посланный судьбой восстановить на плаву накренившийся государственный корабль.

Так сложилось, что теперь это был их общий корабль, и реалистически мыслящие люди в провинции Ахайя также приветствовали воцарившийся в империи мир, хотя дарованные Нероном свобода и анейфория — освобождение от податей — были объявлены недействительными, поскольку, как сухо заметил в связи с этим Веспасиан, «греки разучились быть свободными».

Это в полной мере относилось и к землякам Плутарха, которые уже позабыли, что такое быть настоящими гражданами, за последние несколько веков бед и страданий. Да и когда они были еще независимы от Македонии и Рима, беотийцам, как остальным грекам, так и не удалось обратить свободу в общее благо и процветание. Сначала были бесконечные внутренние распри, смертельная вражда аристократии и демоса, значительную часть которого составляли потомки более древнего, догреческого населения, сохранившие, видимо, в глубине подсознания неискоренимую ненависть к завоевателям. Затем — междоусобная вражда с соседями, беотийцами же, которая не прекратилась даже тогда, когда над всеми ними нависла угроза чужеземного вторжения. Так, когда в 362 г. до н. э. жители беотийского города Орхомена решились предоставить убежище бежавшим от фиванского демоса аристократам, они были жестоко наказаны: по решению народного собрания Фив Орхомен был разрушен, все мужчины перебиты, а женщины и дети проданы в рабство. И даже оказавшись под властью сначала македонских царей, а потом римлян, греки продолжали угрожать друг другу расправой, как угрожал Херонее два века назад ахейский царь Архелай.

Все успокоились только теперь, на общем своем пепелище. Полунищим обывателям провинции Ахайя нечего было больше делить, а вдоль северных границ империи, за заслоном из германских наемников, колыхалось варварское море — неведомого происхождения орды, не знающие благ городской жизни, но жадно стремящиеся к ним. Когда этим рослым светловолосым варварам удавалось прорваться, как галлам еще во времена Республики, от греческих и

италийских городков оставались одни головешки, и многие десятилетия спустя во влажных низинах той же Беотии находили варварские стрелы, обломки мечей и греческие шлемы. Кроме римских легионов, защитить их б гало некому, и поэтому греки, как и другие провинциалы, все больше воспринимали подчиненное свое положение как еще не самое страшное зло. Тем более что римлян можно было умиловить покорностью и послушанием. И поэтому, когда сто лет назад, во время восточного похода Луция Лукулла кое-кто из херонейского простонародья попытался было воспротивиться самоуправству римлян, городской совет сам поспешил осудить зачинщиков на смерть.

Осознавая больше, чем кто-либо другой, что у греков нет надежд на возрождение, Плутарх старался, чем мог, хотя бы смягчить их теперешнее положение. С каждым годом углубляющееся знание истории позволяло ему подойти к блеску и закату Эллады всего лишь как к эпизоду, хотя и неповторимому, в многотысячелетнем существовании человечества, где народы один за другим проживают отведенные им сроки и на смену им приходят другие, чтобы познать те же взлеты и падения. Мифические титаны, карийцы, пеласги, свирепые морские народы конца минойских времен, гомеровские ахейцы — от них остались лишь смутные воспоминания. Настало и время греков. И единственное, что еще оставалось, — сохранить как можно больше из культурного наследия Эллады, в надежде на то, что из суммы всех благих деяний и помыслов слагается в конечном счете тот противовес, который не позволит обратиться в первобытный хаос космосу людского упорядоченного бытия.

Триста лет тому назад Эпикур и Зенон, последние большие философы Эллады, вели между собой непримиримый спор о том, как следует жить образованному и мыслящему человеку в такие времена, когда, казалось бы, навсегда утрачено то, что составляет смысл жизни свободного человека. Ведущий свой род от афинских граждан, Эпикур (Логокипос, Садослов, он проводил свои занятия в саду) считал, что при утрате независимости, когда само государство является чужим, бессмысленна любая политическая деятельность, и призывал каждого затвориться в крепости своего духа и знания. Сын финикийского купца Зенон, открывший школу в Пестром портике — Стоа Пойкиле в Афинах, был убежден, что жить общественной, деятельной жизнью

можно и должно при любых обстоятельствах. Надо быть готовым к любому повороту истории, тем более что жизнь каждого народа — лишь едва заметный штрих в вечном бытии вселенной, а здравомыслящий и образованный человек может найти себя только в служении обществу, каким бы оно ни было. Выходец с Ближнего Востока, где государственная независимость некогда могущественных народов — вавилонян, ассирийцев, персов — давно стала достоянием истории, а такой политической жизни, как в полисах Эллады, и вообще никогда не было, основатель стоицизма (так стали называть его учение по имени портика) видел вещи совершенно иначе, чем Эпикур, внук и сын еще недавно свободных граждан, для которого македонское господство было как кровоточащая рана.

С тех пор прошло несколько столетий, греки смирились с несвободой, и поэтому Плутарх, тяготевший в этом вопросе к стоицизму, был на стороне Зенона, считая, что отечеству надо служить при любых обстоятельствах. Не раз обращаясь к этой теме, он писал, что Эллада не одолела бы Ксеркса и не устоял бы перед варварами Рим, если бы Фемистокл тайлся от афинян, а Камилл от римлян; писал, словно забывая, что они жили в совершенно другие времена, что первый был вожаком набирающего силу свободного демоса, а второй — суровым и бестрепетным гражданином Республики. Как и у другого последователя стоицизма, римлянина Марка Туллия Цицерона, у Плутарха вызывало презрение стремление «жить ничтожной жизнью улитки», к чему, как они оба считали, призывал Эпикур, хотя тот сам же писал, что мы приходим в этот мир один только раз и потом должны целую вечность не быть. Для чего же тогда мы приходим — неужели только для себя и своих философских исканий, от которых, как показала жизнь, в ней мало что меняется?

«Нынешнее положение наших городов не представляет случая отличиться при военных действиях, свержении тирана или переговоров о союзе, — пишет Плутарх в одном из своих сочинений. — Остаются всенародные суды, посольства к императору, для которых тоже нужен человек, соединяющий горячность и решительность с умом». В целом ряде трактатов, по которым можно воссоздать основные этапы его собственной общественной деятельности, Плутарх с присущей ему обстоятельностью излагает свою точку зрения по тем или иным вопросам, которые теперь уже

трудно назвать политическими, дает советы и рекомендации. Он приводит перечень задач, которые все равно кто-то должен решать, и первейшая из них — сохранение семьи, рождение и воспитание детей, «по внешности сходных с отцами», забота о том, чтобы оградить их от тлетворного влияния необратимо гниющего общества. И в этом весь Плутарх: прекрасно сознавая, судя по его писаниям, что Эллада угасает, он все равно продолжает надеяться, что процесс этот можно замедлить, «искореняя порочные привычки», к чему призывает городские власти и сам прилагает неустанные усилия. Ему кажется, что можно прожить в своем окружении как в крепости, заслонившись вековыми традициями, не обращая внимания на то, как все более заметно и необратимо весь их общий мир опускается в Лету.

Лишенный высокомерия большинства греческих мыслителей прошлого, не прощавших обычным людям их слабостей и заблуждений, Плутарх хотел бы поддержать каждого из своих земляков. Не надеясь, подобно Эмпедоклу, Платону и Зенону, в чем-то исправить этот мир, он не гнушался никакой обыденной работы. Одно время в его обязанности входило даже следить за чистотой на улицах, уборкой мусора и стоком вод. «Надо мной самим, наверное, посмеиваются люди, посещающие наш городок, когда видят меня на улицах за такими занятиями, — писал он одному из своих друзей. — Если будут меня порицать, что мне приходится заботиться о размере черепицы и о доставке извести и камня, отвечу так: „Ведь не для себя же, а для моего города“».

В то же время, как учили его с молодых лет, Плутарх старался ничем не выделяться среди сограждан. Однажды его вместе с другим херонейцем послали с каким-то поручением к римскому проконсулу. Случилось так, что тот не смог поехать и Плутарх все выполнил сам. Однако по возвращении отец посоветовал ему отчитаться перед городским советом так, чтобы и «товарищ был представлен в отчете соучастником всех действий». И это стало впоследствии главным принципом Плутарха — никаких амбиций, а тем более своекорыстных расчетов, как на обветшавшем корабле, которому только бы доплыть до спасительной гавани.

Для него самым важным был мир и спокойствие в городе, и это все еще была нелегкая задача, потому что вражда между богатыми и бедными, знатными и простонародьем не прекращалась, выливаясь

нередко в столкновения на улицах. В «Наставлении о государственных делах», в других трактатах и исторических сочинениях Плутарх постоянно обращается к этому, основному для него вопросу: почему же люди одной крови (но, может быть, как говорилось ранее, и не одной?), одной культуры и в конечном счете одной исторической судьбы не могут жить мирно и даже в теперешнем жалком положении продолжают позорнейшее из состязаний, соревнуясь, по словам Диогена Синопского, в том, кто ловчее столкнет другого в канаву? Почему же история никого и ничему не учит, и более удачливые в жизни не становятся добрее и справедливее к обездоленным, чтобы те не ненавидели их горячей и бессильной ненавистью? И второй вопрос — где же лежит та грань, перейдя которую некогда деятельный и гордый своей самостоятельностью народ-демос превращается в охлос, в то движимое темными инстинктами «коллективное животное», которое упрямо действует себе во вред?

Плутарх никогда не бросал бесполезных в своем пафосе упреков измельчавшему народу, подобно Диону Христорому или же некоторым другим философствующим современникам, у которых опустившиеся обитатели старинных полисов вызвали едва ли не большую ненависть, чем поработители-римляне. И в то же время он не обольщался относительно человеческих качеств и херонейцев, и вообще греков, считая, что они имеют теперь столько свободы, сколько заслужили в результате своих ошибок и преступлений друг против друга. Подобно многим образованным грекам, начиная с оратора Эхина, призывавшего в свое время македонского царя Филиппа отправить весь афинский сброд скопом воевать с персами, Плутарх скептически относился ко все еще не изжитым до конца демократическим иллюзиям, считая, что в их нынешнем положении предпочтительнее единоначалие. Если переросшая разумные пределы власть охлоса — обнищавшего простонародья привела в конечном счете к краху Афины и другие греческие полисы, и даже в Риме республиканский строй, который не мог обеспечивать больше благополучия государства, уступил место власти императоров, то о каком народном волеизъявлении, не говоря уже о политической борьбе, могла идти речь в захудалых провинциальных городках? И поэтому Плутарх считал самым главным для того, кто занимается делами города, ни при каких обстоятельствах не выпускать

инициативы из своих рук и твердо отстаивать раз принятое решение. Он заботился о народе, но вовсе не собирался идти у него на поводу, как не станут следовать капризам и прихотям ослабевшего разумом старика его опекуны.

Отношение Плутарха к народу было столь же противоречиво, как драматически противоречива сама сущность некогда славного народа в его закатную пору: с одной стороны, люди уже потеряли почти все, наделали столько непоправимых ошибок, во многом из-за собственной алчности и самомнения, что им уже никогда не подняться.

А с другой — даже на самом дне, в бесправии, нищете и гражданской немощи, они продолжали сохранять представление о том, каким должен быть настоящий человек, и тем более претендующий на власть. Измельчавшие и понемногу вымирающие, они по-прежнему, как в героические времена Кимона, Аристиды или же Эпаминода, хотели видеть над собой людей честных и бескорыстных, на которых можно положиться. Даже в теперешнем своем состоянии народ не долго обольщался пустыми речами демагогов, предпочитая людей дела. Это всегда подчеркивал Плутарх, советуя начинающим политикам не лгать народу, заманивая его несбыточными обещаниями и подкупая лестью, — дешевый авторитет недолговечен. Сам он с возрастом все больше походил на тех достойных политиков Эллады, о которых повествовал в своих писаниях, и его современники, даже те, для кого эти образцы уже ничего не значили, чувствовали это.

Свободное от общественной деятельности время Плутарх посвящал изучению греческой философии и истории, приближаясь понемногу к осуществлению своей главной задачи — написанию сравнительных биографий знаменитых людей прошлого, созданию нетленного памятника их уходящему в прошлое миру. В свои тридцать лет он постоянно обращался к вопросам натурфилософии и этики, что нашло отражение в его диалогах и трактатах, однако интерес к старине, к греческой и затем римской истории становится все более преобладающим. Теперешний упадок был особенно очевиден в сравнении с выдающимися эллинами прошлого, политиками, полководцами и законодателями, без постоянного общения с которыми ему с годами становилось все труднее переносить реальность. Подобно большинству творческих людей закатного времени, Плутарх понемногу привыкает жить не столько настоящим, сколько прошлым.

Минувшее словно бы обступает его, придавая силы, и в его немеркнущем свете начинает казаться, что не все еще потеряно.

Стремясь постигнуть до конца судьбу Эллады, доискаться причин ее величия и поражения, Плутарх решает объехать одну за другой все достопамятные области Греции. Он не раз всходит на корабль, чтобы увидеть некогда славные острова — Родос, Самос, Лесбос и другие, на которых культура и городская жизнь зародились раньше, чем на материковой Греции. Сюда из древних городов микенского времени бежала от вторгшихся с севера варваров часть прежнего населения, и прежде всего знать с ее уходящей в глубь веков культурой, во многом близкой древним культурам Восточного Средиземноморья, и поэтому именно на островах начало понемногу прорасти пышное древо новой эллинской культуры. На Самосе начинал свой путь умнейший из смертных, Пифагор, видевший основу мироздания в числе; на Лесбосе слагали свои песни Сапфо, которую считали Десятой Музой, и яростный Алкей, бежавший от взбунтовавшегося демоса и погибший наемником где-то на востоке.

В сочинениях историков, с детства знакомых Плутарху, в поэзии Ивика и Анакреонта острова Эгеиды остались такими же свободными и богатыми, осиянными полуденным солнцем, напоенными соленым дыханием моря. Люди тех времен даже представить себе не могли бы, до какой нищеты и заброшенности дошли их острова после пяти столетий бесконечных поборов и расправ. Оскудела сама природа. Рощи на холмах были давно сведены, на их лысых склонах пасли тощих коз похожие на мумий старухи, чьи сыновья навсегда покинули отчизну в поисках лучшей доли. В последнее время у императоров вошло в обыкновение ссылать неугодных нобилей на греческие острова, и тем оставалось только тихо угасать среди равнодушных к их страданиям островитян, для которых давным-давно все пришлые и чужие были врагами.

И тем не менее здесь все еще сохранялось что-то из старинных обычаев, и в Митиленах на Лесбосе Плутарх видел ведущиеся исстари состязания поэтов из различных областей Греции. Возможно, о чем все чаще думалось ему, многие из этих обычаев, в том числе ежегодные выступления лирических поэтов и атлетов, ведут свое начало с тех отдаленнейших времен, когда на островах или даже на той земле между Грецией и Троадой, что лежала здесь многие столетия назад,

когда еще не было Эгейского моря, жили какие-то совсем другие люди, смутная память о которых сохранилась в преданиях и которые потом куда-то удалились, уплыли или же вымерли.

Из последних сил старался сохранять былую славу Родос, по-прежнему известный учителями философии, а также выступлениями софистов, которые всегда вызывали у Плутарха недоумение своей циничной игрой словами. Они начали этим заниматься давно, еще во времена Аристофана, подвергнувшего тогдашних софистов, и прежде всего Протагора, блестящему таланту которого могли только позавидовать его теперешние последователи, безжалостному осмеянию в комедии «Облака». С тех пор миновало пять столетий, но Плутарх все еще удивлялся тому, что у наглых бездарей находятся слушатели и не находится никого, кто поставил бы их на место. И в этом весь Плутарх: он словно не хотел замечать, что и собиравшиеся на выступления софистов давно уже не нуждались ни в чем серьезном, настоящем, они слушали торговцев сомнительной мудростью, как слушают плоские остроты уличных шутов, приветствуя одобрительным свистом наиболее заковыристые обороты, и, разойдясь, тут же все забывали.

Родосцы все еще пытались, как это было заведено в старинных греческих полисах, заботиться о неимущих, о том, чтобы все дети учились в школе, однако делать это становилось все труднее. Они даже устраивали время от времени хлебные раздачи, бесплатные театральные представления, но все это было последнее и сами они тоже были последними, о чем говорил с горечью все тот же Дион Христомом: «Некогда честь Эллады поддерживали многие и многие увеличивали ее славу... теперь же все прочие города превратились в ничто, ибо некоторые пришли в полный упадок и погибли, а как ведут себя другие, вам известно: они потеряли свою честь и сами погубили свою славу. Остались только вы, только вы еще что-то представляете собой и не находитесь в полном презрении, не думайте, что вы просто первые среди эллинов, вы — единственные».

Что же касается Плутарха, то он не видел, как уже говорилось ранее, вещи столь трагически: ведь жизнь все равно продолжалась, и хотя это была во многом другая жизнь, в ней также было немало радостного и удивительного. И если для Диона из всего, достойного упоминания на острове Эвбея, были две семьи, навсегда удалившиеся

от людей в горную пещеру, все имущество которых состояло из безрогой коровы, нескольких коз, четырех серпов и трех охотничьих копий, то Плутарх увидел на той же Эвбее совершенно иные картины: «Айдепс на Эвбее, где теплые купанья представляют природное место, обладающее многими условиями для вольных наслаждений и снабженное жилищами и постройками, является как бы общим обиталищем Эллады, и в то же время, как здесь ловится много и пернатых, и сухопутных животных, не худую пищу доставляет море, выкармливая в чистых и близ самого берега глубоких местах много превосходной рыбы. Особенно процветает это место в разгаре весны; ибо многие прибывают в эту пору сюда и живут вместе с другими во всяческом изобилии и постоянно занимаются на досуге рассуждениями о разных предметах». Таким образом, даже в эпоху печального заката греческого мира можно было наслаждаться дарами, к счастью, еще не оскудевшей природы, радуясь уже тому, что таких, как ты, не так и мало. Демосфены навсегда ушли в историю вместе со свободой Эллады, но оставшиеся, хотя уже не герои и не граждане, были живы — значит, надо было жить. Тем более, уже мало кто помнил, как жили прежде: опускались и вымирали постепенно, изменялись незаметно и необратимо.

Кроме того, Плутарху всю жизнь казалось (или же он хотел себя в этом убедить), что если все они, по-прежнему считающие себя эллинами, будут к этому стремиться, то, при длительном мире и благосклонной поддержке императоров, им удастся сохранить и впредь прежний народный дух, обаяние, остроумие и даже некоторую язвительность, всегда отличавшие греков. Что же касается людей в пещере, о которых рассказывал Христостом, опустившихся по собственной воле до скудной охоты и собирательства, то таких для Плутарха словно бы не существовало, он не хотел о них знать. Подобно Платону, он был убежден, что если уж грекам была отведена некая особая роль на вселенском просцениуме, то и доигрывать ее следует с подобающим достоинством.

Малолюдным и тихим оказался мифический Кипр, у берегов которого, согласно преданиям, вышла из пены морской Афродита. Это было задолго до появления в здешних местах не только светловолосых северных людей с железными мечами, но и первых земледельцев-колонистов с Ближнего Востока. Вероятнее всего, богиня любви, так

же как бог моря Посейдон и богиня мудрости Афина, появилась на островах и на Пелопоннесе вместе с темнокожими курчавоволосыми карийцами, навсегда покинувшими свои древние святилища близ не существующего теперь озера Тритон на западе Сахары, которая все больше превращалась в пустыню. В старину в храм Кипр иды на Кипре стекались богатые дары от героев, царей и просто состоятельных людей, моливших всемогущую богиню любви о помощи и милосердии. Страшен был ее гнев, от которого погибали растерзанные собственными страстями герои Еврипида и Сапфо, но еще страшнее оказалось быть оставленным ею и не знать того сердечного огня, который есть часть вселенского пламени и роднит человека с богами.

Теперь подношения были более чем скромными, и вообще казалось странным, что кто-то еще нуждается в поддержке Афродиты.

За те несколько столетий, что отделяли современников Плутарха от снедаемого яростной страстью поэта Архилоха или же от царицы Федры, запутавшейся в тенетах желания, греки разучились любить. Так же как разучились сражаться, осваивать новые земли, строить храмы и сочинять стихи. Оказалось, что душа засыхает по мере умаления свободы и что любовь человека зависимого, почти что раба, лишь с большой долей условности может быть названа этим великим словом. И если Цицерон писал о себе, что он слишком поздно пустился в путь и сумерки Рима застали его на дороге, тогда что же мог сказать о себе Плутарх, стоя перед руинами своей блистательной Эллады?

Плутарха поразило древнее изображение Киприды: это было нечто вроде каменной межи на ристалищах, круглое внизу и понемногу суживающееся кверху. Неизвестно, сколь много поколений отделяло этот малопонятный фетиш от праксителевых венер. Может быть, его создателями были те древние люди, название которых начиналось со слога «ант», а может быть, оно дошло от еще более отдаленных времен и подобные изображения выбивали из камня те же самые звероподобные существа, нечто вроде африканских троплодитов, грубые орудия которых находят время от времени при рытье канав?

Путешествия, без которых вообще не возможен пишущий человек, означали для молодого Плутарха не меньше, чем чтение

исторических и литературных сочинений, по которым он постигал прошлое Эллады. Привыкнув с юношеских лет к постоянному общению с бессмертными мыслителями, он слышал их голоса на руинах старинных городов, сравнивая то, о чем они писали, с тем, что видел сам. Сквозь напластования веков Плутарх различал повсюду очертания и знаки великой греческой культуры в пору ее цветения, и видел то, что было уже неразлично для большинства его современников. Все более очевидной становилась для него непрерывная связь поколений и времен, и поэтому, как уже говорилось, его восприятие мира не было отягощено тем безысходным отчаянием, которое действительно есть конец всякой вещи и всякого существования.

Исходив и объездив окрестные греческие земли, Плутарх стал совершать более длительные путешествия — в Анатолию и Египет, а затем в Рим и Галлию. В этих поездках он окончательно осознал себя как грека, наследника великой цивилизации, и выработал свое отношение к остальным народам, иного типа культурам. И чем более очевидной становилась для него общность их дальнейшей судьбы внутри «паке романа» («римского мира»), тем более отчетливо вырисовывалось место Эллады в этой, по мнению Плутарха, единственной разумно устроенной части Ойкумены.

Особенно непросто для него, как и для других греческих историков и литераторов, начиная со времени персидских войн, было определить свое отношение к Востоку. С одной стороны, он был бесспорной прародиной человеческой культуры. Но с другой — почти все, за исключением Геродота, считали, что именно из Азии пришло все то ложное, развращающее и расслабляющее, что, распространившись по Элладе, в конце концов ее сгубило. Этот давний, так и не разрешенный спор был, по существу, спором между корнями древнейшего культурного древа и одной из самых мощных, уже отцветающих его ветвей, между Эгеидой и Анатолией, населеными якобы еще до Дарданова потопа одним и тем же легендарным народом титанов. Сама Эллада выросла и расцвела, пережив несколько темных веков после вторжения с северо-востока варваров с железными мечами, восприняв многое из малоазийской культуры. Однако обычаи и представления людей железного века, столь неприемлемого для патриархального поэта Гесиода, присущий

им склад души настолько отличались от бытия и мировидения переживших свою лучшую пору великих народов Востока, что их глубинное противостояние сохранялось до самого конца, так полностью и не преодоленное ни Александром Македонским, ни римскими прокураторами.

Плутарх, судя по его сочинениям, не раз бывал в Передней Азии и в молодости, и в более зрелом возрасте, у него были там хорошие знакомые, но он так никогда и не изменил своего мнения о какой-то глубинной несостоятельности тамошней жизни. И в целом люди Востока продолжали оставаться для него теми же чуждыми всему подлинно человеческому варварами, как в свое время для Аристотеля, который советовал своему царственному ученику Александру обходиться с ними как с животными или же растениями — без нужды не ломать и не калечить. Для Плутарха, как и для образованных эллинов прошлого, был неприемлем спекулятивный склад восточной натуры, торгашество и бездушная жестокость азиатов, лицемерная неискренность людей, давно и навсегда переставших быть хозяевами собственной судьбы.

Как истинный грек, признающий только каноны чисто эллинской культуры, Плутарх остался равнодушен к красоте старинных малоазийских городов, отстроенных Селевкидами, благополучие которых особенно бросалось в глаза после удручающего запустения островов, И даже напротив, обилие дорогих товаров, все эти изумительно вышитые ткани, роскошная посуда, ожерелья из самоцветов и жемчуга, причудливые серебряные украшения только усугубляли его презрение к сибаритствующим обывателям Антиохии или же Лаодикеи. И все чаще приходила мысль о том, что если даже идея Македонского сочетать браком Запад и Восток в какой-то мере осуществилась, то потомство от этого брака явно пошло не в мужественных, неприхотливых македонцев и не в пришедших с ними греков, сохранявших даже в те, последние для них как для свободных граждан времена исконное презрение к варварской жизни напоказ.

Преисполненный неиссякаемого интереса ко всему, что, как казалось ему, имеет отношение к греческой культуре и истории, будь то обломок медной доски с непонятными письменами или же древний дротик, найденный при земляных работах на окраине Херонеи, Плутарх не считает нужным уделять в своих воспоминаниях хотя бы

несколько фраз столь восхищавшим Геродота восточным достопримечательностям — древним храмам непонятной ступенчатой архитектуры и по-варварски огромным дворцам, всем этим птицельвам и человеко-быкам, символам совсем иной модели мира. Более того, в трактате «О злокозненности Геродота» он порицает недостойное грека любованье варварскими диковинками.

Бывая в богатых домах своих антиохийских знакомых, уставленных хорошо сработанными копиями Мирона и Праксителя, на их продолжающихся до рассвета пирах, с одуряющим ароматом аравийских благовоний и тяжелыми для его желудка яствами на неподъемных чеканных блюдах, присутствуя на фривольных, пустых комедиях с полуобнаженными арфистками и лениво отрабатывающими свою плату актерами, Плутарх отмечал с глубочайшим внутренним удовлетворением, насколько же это все ему противно. Особенное неприятие у него вызывали неумная алчность азиатов, их стремление к наживе любой ценой, не стесняясь ни лжи, ни мошенничества, а также характерное для многих из них отвращение к бескорыстному умствование, и к материям высоким и для практической жизни не нужным. Даже наиболее образованные из азиатов как будто бы боялись такого рода размышлений, к которым были по большей части неспособны, и поэтому высмеивали их как нечто пустое и не нужное.

Здесь не было настоящих философов, только все те же вездесущие софисты, пространно разглагольствующие перед публикой, не знающей, куда себя деть от скуки, по поводу всяких пустяков. И мысли Плутарха снова и снова обращались к важнейшему для него вопросу: куда же все подевалось — многовековые познания халдейских и вавилонских мудрецов, сумевших вычислить тридцатитысячные космические циклы, и благоговейно внимавшие своим восточным учителям пифагоры и демокриты? И наблюдая воочию праздное и в то же время суетливое мельтешение ближневосточного люда, с его вечной заботой о наживе, с его страстью к золоту, Плутарх постигал все больше главную истину греков: они — какие-то другие, другие от самых что ни на есть отдаленнейших времен, может быть, даже от легендарной гиперборейской прародины. Они оставались другими даже сейчас, в их измельчании и бедности, в их непоправимом поражении, и поэтому лучше им всем, всему бывшему эллинству

понемногу уйти в небытие, а вернее, в иные пределы никем не созданного мира, чем уподобиться тем изворотливым существам с хитростью вместо души и разума, перед победоносной лживостью которых встал бы в тупик сам Аристотель.

И только в старинных городах малоазийской Ионии, где почти восемь столетий назад появились первые греческие поэты, философы и логографы, Плутарх с радостью отмечал свидетельства того, что многовековые традиции еще не исчезли окончательно. Все представляется ему достойным восхищения: и то, что в Смирне чеканят до сих пор монеты с изображением Гомера, и то, что школы риторов и медиков в Эфесе продолжают готовить врачей и учителей чуть ли не для всей империи. Только здесь, в еще не угасших окончательно первоначальных очагах греческой образованности, он находит приятным все: манеры людей, их мирные нравы и неизменную приверженность к знаниям, только здесь, завершая свое путешествие по Азии, Плутарх видит, наконец-то, понятных и потому дорогих ему людей.

Перед самым возвращением домой Плутарх посетил Троаду, где местные жители с готовностью показали ему могильный курган Гектора, а также другой холм, значительно больших размеров, под которым, как они утверждали, покоится сам Илион. Со времени гибели Трои, воспетой Гомером, прошло пятнадцать столетий, но и сейчас события и герои того времени казались грекам не более отдаленными, чем подвиг царя Леонида с его тремястами спартанцами или же разрушение Фив Александром. Это все теперь было их великое прошлое, и время как будто бы спрессовалось внутри того грандиозного действия, каким была греческая история, вся их неповторимая жизнь. Осознание эллинской osobости, укрепившееся у Плутарха после поездок по Эгеиде и Анатолии, стало в дальнейшем определяющим для его исторических сочинений. Теперь он еще более последовательно стремился строить свою жизнь в соответствии с обычаями великих предков, согласно тем традициям, которые, казалось, были совершенно бесполезны в их теперешней жизни, но кроме которых у них уже, в сущности, ничего не осталось.

В эти годы Плутарх уже был женат. Свою будущую жену (как вспоминал он впоследствии в «Книге любви», написанной для сына Автобула) он встретил, как это обычно бывало, на одном из старинных

празднеств. Ею оказалась Тимоксена, дочь Алексииона, отличавшаяся не только приятной внешностью, но, что особенно ценил в женщинах Плутарх, спокойным характером, благородством помыслов и простотой обращения. К тому же Тимоксена была достаточно образована, могла разделить философские и литературные пристрастия мужа и даже как будто бы сама писала книги в зрелом возрасте. Как вспоминал о своей супруге Плутарх, она «никогда не проявляла склонности к изысканным нарядам для театра или торжественной процессии», предпочитая обществу болтливых подруг домашние дела, занятия с детьми, и всю жизнь сохраняла глубокий интерес к наукам и искусствам.

Сам прожив долгий век с женой так, что у них почти не было «надобности в ссоре», Плутарх был уверен, что свою семейную жизнь человек должен выстроить так же тщательно и прочно, как удобное и здоровое жилище. Видя в благополучном браке залог удовлетворенности жизнью вообще, он не раз обращался к этой теме в своих сочинениях (в «Наставлении супругам», «Об Эроте» и других), подкрепляя свои советы многочисленными примерами, почерпнутыми у историков и писателей прошлого.

Убежденный в том, что «не должна жена заводить собственных друзей, хватит с нее и друзей мужа», Плутарх, на первый взгляд, следовал в этом вопросе старинным установлениям греков, особенно афинян, согласно которым жизнь женщины должна протекать в основном в гинекее — на женской половине дома. Однако, если всмотреться попристальнее, за его отношением к семье как главной твердыне человеческой жизни проглядывает то, что было вообще незнакомо эллинам прошлых времен, — страх перед враждебностью мира. Страх пред тем распадом всех прежних устоев, в результате которого они все превращаются, поколение за поколением, в «соединение людей, только живущих вместе», а их отношения все больше уподобляются соприкосновениям и переплетениям эпикуровских атомов, находящихся в непрерывных столкновениях и отталкиваниях, но не создающих никакого единства. И с тем большей настойчивостью Плутарх стремился противопоставить распаду человеческих отношений Любовь, всемогущего Эроса, который один только придает смысл супружеской жизни.

В это время уже мало кто заботился о сердечном влечении, вступая в брак. Не говоря уже о римских писателях, сам Плутарх то и дело сетует на то, что «одни... привлеченные приданым, вводят в свой дом ничтожных женщин», что юноши ищут беспечного существования в спальне богатой старухи, а «иные замужние женщины тяготятся своими строгими, воздержанными мужьями, зато с распущенными сластолюбцами, словно с псами или козлами, сходятся охотно». И что все они, «народив детей с кем пришлось... готовы распротиться с браком или же, оставаясь в нем, не думают о том, чтобы любить и быть любимыми».

Любить, уважать, заботиться друг о друге, уступать друг другу — проходит через все рассуждения Плутарха о браке. Сохранять всеми средствами те «доверие и приязнь», без которых «целость брака поддерживается, словно ярмом и уздой, только стыдом и страхом». Подлинная же духовная близость достигается лучше всего в совместных занятиях и благородных увлечениях, ибо «семейный очаг куда более, чем какую-то лиру или кифару, подобает приводить к согласию и созвучию при помощи красноречия, искусства и философии». И чем более вольные права случалось ему наблюдать, тем с большей настойчивостью он защищал супружескую верность, утверждая, что «благородная женщина, которую Эрот сочетал с законным мужем, скорее потерпит объятия медведя или змея, чем прикосновения и ложе постороннего мужчины».

Плутарх был непримиримым противником излишней свободы для замужних женщин, потому что в его времена, когда римская императрица могла позволить себе подрабатывать в лупанарии, уже становилось очевидно, что страшным плодом этой свободы является вырождение. Что от случайной любви все чаще рождаются монстры даже в императорском дворце. Плутарх был противником разводов и хвалил римлян за то, что у них разводы не разрешались на протяжении двухсот тридцати лет. Вновь и вновь утверждая незыблемость разумных установлений человеческого бытия, в том числе и в семейной жизни, Плутарх, как всегда, обращается к примерам прошлого, которые, казалось бы, были очевидны для всех и которые так никого ничему и не научили: «алчной была Елена, сластолюбив был Парис, разумен Одиссей, верна Пенелопа. Поэтому и оказался

один брак счастливым и подражания достойным, другой же Илиаду бедствий принес как эллинам, так и варварам».

Обилие разноречивых впечатлений, полученных во время поездок по Греции, крепнущая гордость за ее славное прошлое побуждают Плутарха к написанию целого ряда небольших сочинений об обычаях, установлениях и выдающихся людях свободной Эллады. Он обращается к Спарте, которая, даже в теперешнем ее состоянии, произвела на него особое впечатление и неизменная любовь к которой была так же противоречива, как и отношение Плутарха к греческой истории в целом. Так высоко ценивший в людях образованность, причастность к философии, он не нашел бы ничего из этого в древней Спарте, из которой со времени Ликурга были изгнаны не только искусства, но даже многие ремесла. Но зато только в этом, давно уже не существующем обществе Плутарх находил то гражданское единство, то желание каждого подчинять свои личные устремления интересам всего племени, которых не было ни у одного из других греческих народов.

Он пишет «Рассказы о спартанцах», «Рассказы о спартанских женщинах» и «Старинные обычая спартанцев» — пока еще довольно непритязательные сочинения, длинный перечень царей и наиболее характерных обычаев и установлений. Он начинает с наиболее старых царей, таких как Теопомп и Алкамен, жившие более восьми столетий назад, Полидор, воевавший с мессенцами, прежними обитателями этих земель, или же Хэрилл, современник законодателя Ликурга. И оканчивает свои рассказы последними выдающимися спартанцами, такими как легендарный царь Агиселай, который в восемьдесят лет отправился с отрядом наемников в Египет — заработать немного золота, чтобы расплатиться с учителями, и умер на обратном пути в море.

Иногда описание жизни царя, того или иного обычая уместается всего в несколько фраз, но за ними видна вся история Спарты, от древней прославленной доблести и благозакония — до печального конца непобедимого Лакедемона, сдавшегося в конце концов, как и прочие города и народы, под натиском денег, роскошных вещей, праздности и своеволия. Навсегда канули в Лету те времена, когда царь Леотихид, отвечая, почему спартанцы так мало пьют, сказал: «Затем, чтобы не другие могли господствовать над нами, но мы над другими».

Или когда царь Хэрилл на вопрос о том, какая из форм правления является наилучшей, ответил: «Та, при которой подавляющее большинство граждан по собственной воле, без принуждения и наказания, соревнуются между собой в доблести».

Плутарх с глубоким уважением повествует о суровом благозаконии лакедемонян, усматривая глубокий смысл в том, над чем, бывало, посмеивались понаторевшие во всех искусствах афиняне или же коринфяне: «Они учились читать и писать из чисто практических соображений, но обучение чему бы то ни было другому вообще изгоняли из страны... Их воспитание было направлено прежде всего на подчинение властям, выносливость, пренебрежение к трудностям, на победу или же смерть в бою»; «язык их был прост и ясен, состоял главным образом из изречений тех, кто прожили достойную жизнь и умерли за Спарту».

Сами законы Ликурга, ужасавшие в свое время других греков, представлялись Плутарху неким божественным даром, благодаря которому спартанцы дольше других удерживали свободу: «Пока спартанское государство следовало законам Ликурга и оставалось верным его заветам, оно удерживало за собой первое место в Греции и добрую славу в течение пятисот лет». За эти пять веков сменилось немало доблестных царей и воителей, и первый из них — бессмертный царь Леонид. И все они могли бы повторить слова древнего царя Агиселая, который, будучи спрошенным, как можно править безопасно, обходясь в то же время без телохранителей, ответил: «В том случае, если править своими подданными, как правит отец сыновьями».

Кажется, все вызывало одобрение Плутарха в те с ностальгическим любованием воссоздаваемые им времена, когда спартанские женщины, так же как и мужчины, не знали иных забот и целей, кроме блага отечества, и матери спрашивали у возвратившихся с поля боя не о том, как погибли их сыновья, но о том, победили ли они. Казалось бы вообще не приемлющий жестокости Плутарх так же спокойно, как о нравственных достоинствах спартанцев, повествует и о том, как воспитывалась их прославленная доблесть: когда одного из полководцев спросили, почему они до сих пор не перебили всех до одного аргосцев, с которыми они так часто воюют, тот ответил, что они не собираются этого делать, иначе их молодежи будет не на ком

тренироваться. Впрочем, в других сочинениях Плутарх с осуждением отзывается о криптях — регулярном уничтожении наиболее сильных и потому опасных илотов, считая это недостойным спартанской доблести.

«Так было, — завершает Плутарх сочинение о прежних спартанцах, — до тех пор, пока они все вместе соблюдали законы Ликурга; а потом они подпали под деспотизм собственных же граждан, ничего не сохранив от унаследованной от предков дисциплины; а еще дальше они уподобились всем остальным, окончательно лишившись былой своей славы и свободы речей и были сведены до положения подданных; а теперь, как и остальные греки, находятся под властью Рима».

Плутарх вспоминал бедные селения по берегам Еврота, заросшие травой ступени храмов, торгующих своей любовью все еще прекрасных, статных и светловолосых спартанок, и ему стало бы жутко, если бы он не усвоил еще в Академии, что хотя все вещи во Вселенной неизбежно переходят с течением времени в свою противоположность, за этим кроется некий все оправдывающий высший смысл, а иначе зачем же все это — и мы, и наша жизнь, и этот мир?..

Вспоминались пророческие строки Гесиода об ужасах пятого, железного века, «когда одни жесточайшие, тяжкие беды людям останутся в жизни, от зла избавленья не будет». Теперь, когда, говоря словами другого провидца Еврипида, «как по ветру дым» была развеяна и свобода, и вся их прежняя жизнь, правота Гесиода не подлежала сомнению. И все-таки, то ли потому, что сердце Плутарха словно было одето от самого рождения в какую-то броню или же покрылось панцирем от стольких страданий его народа, а может быть, оттого что так глубока была его вера в конечную разумность бытия, но ему было неведомо отчаяние. Пятый железный век продолжал гроыхать по земле, залитой кровью бесконечных сражений, слезами бесчисленных жертв, но ему все казался, все чудился за его полыхающим заревом брезжащий тихий рассвет века шестого, когда род людской должен будет все-таки стать соответствующим своему назначению...

По вечерам, и особенно в праздники, собирались в его доме друзья — просвещенные, взыскующие истины люди, которых, как

оказалось, было не так уж и мало. Для них было важно узнать мнение друг друга, найти подтверждение собственным мыслям, убедиться в правильности своих философских или же исторических изысканий, совсем как на тех прежних симпозиумах, о которых так писал Платон: «где за вином сойдутся люди настоящие и образованные! там не увидишь ни флейтисток, ни танцовщиц, ни арфисток — там общаются, довольствуясь самими собой, без этих пустяков и ребячеств, беседа собственным голосом, по очереди говоря и слушая, — и все это благопристойно, даже если и очень много пили они вина». И пространные эти разговоры, когда тускло поблескивал старым лаком кратер с разбавленным вином, когда благоухали на блюде только что сорванные яблоки и тянуло со двора прохладной свежестью осенней ночи, спокойные речи дорогих его сердцу людей, так же как и родная земля, питали душевные силы Плутарха, порождали ощущение прочности жизни.

Глава 3. Железный город

*Он был рожден отвагой и отчаянной
дерзостью
отчаянных и на редкость воинственных людей,
которых занесло в Латий отовсюду;
многочисленные
походы и частые войны были для него пищей,
на которой он вырос и налился силой.*

Плутарх

Где-то около 78 года приходит время увидеть Плутарху и Рим, этот железный, по его собственным словам, город, куда сходились теперь все нити Ойкумены и где решалась вот уже более двух столетий судьба населения провинции Ахайя. Можно только предполагать, что послужило непосредственным поводом для этой поездки, во время которой он окончательно укрепляется в понимании нарастающей общности их культуры и судьбы перед обступающей со всех сторон варварской опасностью. Не исключено, что он (как в свое время историк Полибий) ездил в Рим как ходатай от херонейской общины, возможно, даже просить покровительства при императорском дворе. Преисполненный желанием увидеть, наконец, все то, о чем ему приходилось столько слышать, Плутарх надеялся, что ему удастся постигнуть чуждую грекам жизнь римлян, хотя это было для него нелегко из-за незнания латинского языка, и попытаться понять, в чем же источник силы этого народа.

Он впервые плыл на запад, в сторону совершенно ему незнакомых земель, простирившихся по северным берегам их общего моря, до той океанской пучины, где нашла последний покой Платонова Атлантида. Обогнули Пелопоннес, миновали скалистые сицилийские берега и, наконец, он ступил на землю Италии, может быть, даже в том самом месте, где сошли когда-то с кораблей бежавшие из пламени Трои спутники Энея. Он ехал в Рим по старинной мощеной дороге в нанятой тут же близ гавани повозке, удивляясь тому, насколько ровной, даже плоской казалась эта часть италийской земли по сравнению с

Грецией и как свежа была зелень молодых виноградников и хорошо возделанных полей.

Рим поразил его своей грандиозностью, несмотря на следы недавних пожаров и разрушения последних гражданских междоусобиц. И все же, при всем великолепии императорских построек, вечный город проигрывал в глазах Плутарха по сравнению не только что с божественными Афинами, но даже с городами Передней Азии, лишенный какой-то целостности, той общей идеи, которая придавала законченное совершенство старинным греческим городам. На форуме и вокруг него громоздились, словно бы налезая друг на друга, строения и памятники самого различного времени, красноречивые свидетели свершений и побед квиритова племени.

Старинные здания удивляли своей архаичной простотой, напоминая обиталища ликургов спартанцев. Как писал об этом впоследствии Плутарх, еще триста лет назад, до того как консул Марк-Клавдий Марцелл вывез из поработанных Сиракуз значительную часть старинных скульптур и украшений, в Риме не было вообще ничего радующего взор: «переполненный варварским оружием и окровавленными доспехами, сорванными с убитых врагов, увенчанный памятниками побед и триумфов, он являл собой зрелище мрачное, грозное и отнюдь не предназначенное для людей робких или привычных к роскоши». Да и впоследствии знатные и состоятельные римляне имели обыкновение украшать свои дома и виллы статуями, стелами, мозаичными полами и даже целиковыми колоннами, привезенными из Греции или Передней Азии.

Во многих постройках республиканского времени еще проглядывал тот древний стиль, унаследованный, возможно, от более ранних обитателей Италии, со временем растворившихся в общей массе населения. Об архаичных сооружениях из плотно пригнанных отшлифованных камней напоминала даже гробница Гая Юлия Цезаря — глухая и круглая невысокая башня, потемневшая от времени. И только в постройках императорского времени, становящихся от одного цезаря к другому все дороже и роскошнее, возобладало почти полностью греческое и малоазийское. На обширном пространстве от Палатина до Эсквилина постепенно приходило в запустение обиталище Нерона — так называемый Золотой дворец, где раньше все было покрыто золотом, драгоценными камнями и жемчужными

раковинами, а один из главных залов был круглый и устроен так, что днем и ночью безостановочно вращался вслед небосводу. Теперь, когда Веспасиан, как рачительный крестьянин, весьма неохотно соглашался даже на небольшие траты, от диковинной роскоши «актера на троне» почти ничего не осталось.

Становилось все более очевидно, что с не знающим удержу своим прихотям Нероном, который в конце концов поджег беззащитный перед его безумием город, закончилась надолго, если не навсегда эпоха безумно огромных трат и почти маниакальной тирании отпрысков древнего рода Клавдиев. Империя вступала в новую фазу, когда все более определенной становилась только одна главная задача — удержать имеющееся. И речь шла не только и не столько о богатствах, в значительной мере уже растраченных и прожитых, и не о подвластных народах и племенах, многие из которых сами просились «под руку Рима», не в силах отстоять самих себя. Речь уже шла об удержании самих земель, провинций и областей империи, границы которой простирались до Оловянных островов и реки Борисфен, и надо было строить укрепления в дакийских и чуть не таврических землях, содержать германские гарнизоны, а не золоченую роскошь тех, кто уже никогда не вернется.

Пока последний из Клавдиев собирал венки на греческих музыкальных состязаниях, Рим превращался понемногу в нечто вроде ставки северных наемников, а после его гибели прямо-таки в арену их ожесточенных столкновений, к которым присоединялась и ничего не теряющая чернь, поддерживая ей что-то кинувших или даже только пообещавших претендентов на власть. Во многих местах еще можно было видеть следы пожаров и разрушений, шли восстановительные работы на Капитолии, особенно пострадавшем во время последней смуты, начав которые император Веспасиан рассчитывал заодно чем-то занять и «подкормить народец». Кроме того, он издал распоряжение занимать и застраивать всем желающим пустующие участки, если владельцы их не хотели или же были не в состоянии сделать это. Чаще всего это были владения некогда сильных, но теперь уже вымирающих родов, основатели которых с оружием в руках стогнали лет восемьсот — семьсот назад с этих земель их первоначальных обитателей, а их последыши, утратив волю к жизни, давно махнули на все рукой. Начинание Веспасиана было продолжено последующими

императорами, и вот уже писатель Плиний Младший с удовлетворением отмечает, как возрождаются по всей Италии выморочные имения, не придавая особой важности тому, что новые владельцы их, рачительные и предприимчивые, были все больше от левантинских или же анатолийских корней.

Хотя пошатнувшееся было государство обрело как будто бы настоящего хозяина, к сыну сборщика налогов не испытывали особой симпатии ни сами римляне, ни провинциалы, и прежде всего греки. Он добросовестно наводил порядок в государстве, как старательный крестьянин в неожиданно доставшемся ему поместье: основательно почистил сенат, удалив особенно известных своей нечестностью и недостойным поведением, распустил полуварварские легионы Вителлин, стремился во всем себя показывать приверженцев старинных добрых нравов — и все равно в нем словно чего-то не хватало. Не хватало царского размаха, присущего Нерону, того блеска, пусть даже и зловещего, который так нравится толпе. Пресловутая бережливость Веспасиана, его дотошный педантизм во всех делах казались смешными и недостойными правителя в глазах как римской черни, привыкшей к щедрым раздачам и пышным зрелищам при последних Клавдиях, так и в восприятии греков или египтян, для которых имели не последнее значение манеры, пристрастия, сам внешний вид правителя. Зубоскалы-александрийцы сочиняли анекдоты о скаредности «селечодника», который ввел налоги не только на соленую рыбу, но даже на общественные уборные, а родосские философы сокрушались по поводу его деревенской необразованности.

Все это нимало не беспокоило Веспасиана, для которого, особенно после войны в Иудее, все пестрое население восточной части империи было не более, чем досадный балласт для государственного корабля, от которого, к сожалению, никуда не деться. Император заметно благоволил к выходцам из западных провинций, некоторым из них он предоставил право считаться римскими патрициями, включив их в сенатские списки. И в то же время он твердо стоял на том, что греки, египтяне и прочие азиаты настолько выродились, что разучились жить свободными. Поэтому он не только отобрал особые права и привилегии, дарованные Нероном в том числе и жителям Ахайи, но вообще лишил свободы Родос, Самос, Византий и Ликию и обратил в провинции последние, хотя бы по виду независимые царства

Киликию и Коммагену. После победы над иудеями, которые дольше всех сопротивлялись окончательному установлению «римского мира», Веспасиан, казалось, надолго утратил интерес к восточной части Ойкумены, сосредоточившись всецело на делах в самом Риме и на еще мало освоенных северо-западных землях.

Плутарх составил свое мнение о Веспасиане еще до того, как впервые увидел его в театре в Риме, о чем он вспоминает в одном из своих сочинений. Ни достаточно внушительная внешность императора, ни его спокойная уравновешенность и пресловутая хозяйственность не имели никакого значения для ученика афинских академиков, если этими качествами был наделен человек, лишивший греков какой-либо надежды на право быть гражданами. Как уже говорилось, Плутарх сам не испытывал уважения к людям востока, с их чуждой всего возвышенного приземленностью и неразборчивостью в средствах, и поэтому то, что сын сборщика налогов поставил их на одну доску, казалось ему особенно унижительным.

Отношение Плутарха к Риму и новым хозяевам мира, его жизненная позиция вообще как одного из последних великих людей античной цивилизации отличаются трагической раздвоенностью, пусть сам он стремится этого трагизма как бы не замечать, не придавать особого значения и раздвоенности. С одной стороны, будучи в Азии, он мог убедиться, что «паке романа» — пресловутый римский мир имеет, безусловно, свои положительные стороны. И это прежде всего прекращение распрей между многочисленными восточными народами, племенами и царствами, в которых они испокон века себя обессиливали и самоуничтожали. То же можно было сказать и о Греции, которая, в чем был убежден Плутарх, вообще погибла из-за этих распрей. Но в то же время с прекращением войн, а затем и всякого рода борьбы, в которой Гераклит видел начало всех начал и «отца всех вещей», настоящая жизнь, наполненная созиданием и внутренним смыслом, словно бы навсегда покинула эти земли.

Замиранные Римом народы и города доживали, дотягивали отпущенные им историей сроки в относительной сытости и безопасности, окончательно перестав быть хозяевами собственной судьбы, существуя по снисходительной милости цезарей и понимая, что будущего у них нет. И если хотя бы какое-то внимание со стороны Клавдиев, ценивших культурное наследие Эллады, оставляло

грекам небольшие надежды, то с приходом к власти простолюдина Флавия, откровенно презиравшего все эти «греческие штучки», становилось все более очевидно, что надеяться больше не на что. Поэтому в глазах Плутарха деловитый Веспасиан был, пожалуй, даже хуже того сумасбродного исполнителя модных арий, которого ему довелось слушать в молодости в Олимпии, и он с нескрываемым удовлетворением констатировал впоследствии, что Веспасиан все-таки был наказан судьбой, ибо в скором времени весь его род был полностью истреблен. И если он иногда будет обращаться к деяниям цезарей из рода Флавиев, то только для того, чтобы на их примере (так же как на примере целого ряда других сильных мира сего) еще и еще раз удостовериться в неотменимости главного закона бытия — открытой Гераклитом диалектики, в силу которой жестокого и распутного деспота у кормила государства сменяет, если общество еще жизнеспособно, трезвомыслящий и спокойный рулевой или даже два — три такого типа правителей подряд, чтобы затем опять на вершине общественной пирамиды оказался ничтожный и злобный негодяй.

Отправляясь первый раз в Рим как человек на службе у своего города, Плутарх, как всегда и везде, остается прежде всего мыслителем, по существу — созерцателем. Возможно, даже неосознанно, он следует своей главной цели — побольше увидеть и узнать о незнакомой ему жизни, чтобы потом на основе накопленного материала написать целый ряд исторических сочинений, морально-этических трактатов и попытаться найти ответ, который бы, наконец, объяснил и ему самому, и всем остальным сокровенный смысл и движущие силы их судьбы. И так же как в Греции или в Азии, Плутарх оказывается в Риме в кругу подобных ему людей, любителей старины, склонных к философским размышлениям, хорошо знакомых с греческой культурой и главное — уважающих сам тап человека, превыше всего ставящего всякого рода теоретизирование. С Местрием Флором, бывшим консулом, благодаря которому он хорошо ознакомился с Римом и другими городами Италии, он был, кажется, знаком еще со времени своего ученичества у Аммония. На его суд молодой Плутарх представил свои первые сочинения и заручился его горячим одобрением и поддержкой. Не исключено, что именно Местрию Флору Плутарх был обязан получением римского гражданства, о чем он, правда, предпочитает не распространяться,

желая в глазах читателей, а тем более потомков, оставаться прежде всего эллином, гражданином родной Херонеи.

Многолетние дружеские отношения сложились у Плутарха с Фунданом, впоследствии также консулом, с известным оратором Панетием (по его просьбе был написан трактат «О хорошем расположении духа»), а также с неким Сатурнином, братом его Квинтом и Секстом Суллой, карфагенцем по происхождению, о которых он упоминает в своих сочинениях. Из всех римских друзей наиболее близким Плутарху человеком стал Сосий Сенецион, который чувствовал себя в Афинах, пожалуй, лучше, чем в Италии, и для которого наполненное великими свершениями прошлое тоже было предпочтительнее настоящего.

Просвещенные друзья Плутарха чувствовали себя с каждым годом все неудобнее в Вечном городе, переполненном германскими наемниками и восточными вольноотпущенниками. Люди из старинных семей, внуки всего лишь семьдесят лет назад похороненной Республики, они никак не могли смириться с единственной остававшейся им ролью — с ненадежной судьбой верноподданных все более и более сомнительного происхождения владык. Было, впрочем, еще немало таких, которые считали, что прошлое еще можно вернуть, и поэтому после убийства ужасного Гая Калигулы была предпринята попытка провозгласить «всеобщую свободу». Потом почему-то надеялись, что Республику восстановит Оттон, но время шло, понемногу уходили последние, хранившие воспоминания, вернее, теперь уже предания о совершенно ином устройстве жизни, все вокруг делалось все более чужим, а сами они лишними в собственном отечестве.

Со смертью последнего из Клавдиев окончилась не просто династия, ведущая свое происхождение от одного из древнейших, еще сабинских родов, окончился сам прежний Рим. Он перестал быть чем-то особенным, отличным от обессилевшего восточного мира и северо-западных варварских племен, вместе со всеми ними он все больше превращался в нерасторжимое единое — некое огромное, все менее доходное хозяйство под надзором умеющих считать копейку принципсов. И чем дальше шло время, тем большее значение приобретало именно умение считать. По собственной воле (или же по имперскому приказу) уходили из жизни философы и литераторы, такие

как Луций Анней Сенека, выходец из Испании, последователь стоицизма, учивший, что из жизни надо не убежать, а покидать ее достойно и сознательно, или же Гай Петроний, «судья изящного», законодатель мод и друг Нерона, автор бессмертного романа «Сатирикон». Те, кому пока удалось уцелеть, спешили затеряться в провинциальном захолустье, и подлинным хозяином не только Рима, но и всей империи малу-помалу делался петрониевский Тримахильон — сметливый вольноотпущенник, чаще всего родом из Малой Азии, на шее которого еще не стерся след от рабского ошейника, академик спекуляции, готовый скупить и перепродать весь белый свет.

В домах своих римских друзей Плутарху довелось видеть и некоторых из тех последователей стоицизма, которые в свое время выступили против Нерона, были подвергнуты опале и только недавно смогли вернуться из изгнания. Наиболее значительных из заговорщиков, во главе которых стоял молодой аристократ Кальпурний Пизон, давно уже не было: покончили с собой поэт Марк Анней Лукан, племянник Сенеки, «знаменосец пизонова заговора», открыто воспевавший борьбу с тиранией, и Тразея Пет, прославлявший республиканские порядки и староримские добродетели в написанной им биографии Катона. Был изгнан Гельвидий Приск и сослан на каторжные работы известный учитель философии Музоний Руф, рассуждавший на своих беседах о том, что люди аморальные и преступные не должны находиться у власти.

В тот год, роковой для еще снедаемых республиканской ностальгией, когда над городом пролетела «хвостатая звезда», были осуждены и сосланы некоторые другие, менее видные приверженцы стоицизма, считавшие, что даже при самых неблагоприятных обстоятельствах надо стремиться воздействовать на ход событий. Никто не смог бы убедить их в том, что время философов проходит или уже прошло; им хотелось, о чем писал Сенека, выйти со словом истины на просторы широкого мира — общей отчизны всех людей, однако мир отвергал их насмешливо и жестоко. Так, Музоний Руф, едва вернувшись с каторги, решил было обратиться с философской проповедью к солдатам Вителлин, толкуя о благах мира и ужасах войны, и едва унес от них ноги.

Для Плутарха все это было уже в прошлом: тщетные попытки Платона склонить сицилийского тирана к установлению более

разумного и правильного, на его взгляд, общественного строя; проекты Аристотеля и подвижническая деятельность Зенона, стремившегося научить своих потерпевших историческое поражение современников, как остаться «человеком общественным», как сохранить достоинство и способность ставить большие цели даже тогда, когда тебя все меньше считают за человека. Сам Плутарх, как и большинство мыслящих греков последемосфенова времени (когда была предпринята последняя попытка оружием вернуть былое), искал свободы самовыражения не в противоборстве со сложившимся порядком, что было очевидно бессмысленно, но — приспособляясь к этому порядку и в то же время как бы наблюдая все со стороны, из интеллектуального убежища, недоступного ни цезарям, ни северным наемникам. Греки уже прошли этот путь, который завершали теперь образованные римляне, последние из защитников «подлинно человеческих качеств». И хотя Плутарх упоминает кое-где в своих сочинениях о заговоре стоиков, их изначально обреченная попытка вернуть невозвратимое не вызывает у него особого сочувствия. Как и других греков, знавших отцов и дедов о безжалостном гнете римских республиканцев, его не трогали страдания и унижения римских аристократов, даже философствующих. К тому же, он находил мало общего между греческими стоиками, даже теми последними из них, у кого полтора столетия назад учился Цицерон, и их италийскими последователями, убежденный в том, что все настоящее и достойное внимания в области высшего умствования навсегда отошло в прошлое вместе со свободой Эллады.

Он вообще мало пишет о римской жизни того времени, хотя отдельные впечатления, эпизоды и примеры можно встретить во многих его сочинениях. Плутарх достаточно равнодушен и к тем новым землям и варварским народам, на которые с надеждой устремлял свой взор римский историк Корнелий Тацит, и предметом его неиссякаемого интереса остается прошлое.

Он посещает ряд достопамятных мест Цизальпийской Галлии, связанных с именем Гая Юлия Цезаря, к запискам которого он приступил, едва научившись понимать латинский язык. Вместе с Местрием Флором Плутарх ездил посмотреть место сражения при Бедриаке между Вителлием и Отоном, очевидцем которого десять лет назад был сам Местрий, находясь в свите Отона. Как писал

впоследствии Плутарх в биографии Отона, Местрий Флор показал ему старинный храм и вспомнил, как, подойдя к нему сразу после битвы, увидел такую гору трупов, что верхние были вровень со щипцом. Он пытался разузнать, для чего сложили эту гору, но и сам не догадался, и другие ничего не смогли ему объяснить.

Да, наверное, никто в целом мире не смог бы объяснить, почему время от времени люди складывают горы из мертвых тел своих же соотечественников, почему это общее безумие, которого так боялся Плутарх, охватывает время от времени почти каждый народ, вовлекая в междоусобные распри даже самых, казалось, разумных и спокойных. Обращаясь к этому вопросу, Плутарх пытался найти ответ у Фукидида, относившего все это к фатальному несовершенству человеческой природы, или же у Полибия, (для него главная причина виделась в диалектической парадигме самой истории, которой бы не было без внутренней борьбы, как было бы невозможно бытие вообще, не будь извечного противостояния эмпедокловых Любви и Вражды). Но невольно приходило на ум, что есть еще одна причина, может быть, самая главная, о которой как-то вскользь обмолвился Гомер: ему кажется, что Троянская война началась из-за того, что Зевсу захотелось стряхнуть с земли лишнее бремя людей.

Даже спустя сорок дней после сражения на поле у Бедриака валялись не погребенными растерзанные тела, отрубленные члены, гниющие останки людей и коней. Рассказывали, что когда кто-то из окружения прибывшего сюда Вителлия ужаснулся смрадному запаху, победивший солдатский император радостно осклабился: «Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше — гражданина». Подобное было и в Греции, когда после победы на греками, собранными для последней битвы за свободу Демосфеном, македонский царь Филипп топтался и приплясывал на трупах эллинов с чашей вина в руках, повторяя: «Пеаниец Демосфен постановил» — как подписывал свои антимакедонские постановления находившийся тогда у власти Демосфен. Все повторялось, следуя какому-то неотъемлемому закону, и затянувшаяся агония Римской республики во многом повторяла последние усилия греческих полисов сохранить свободу и демократию.

Со смертью Нерона закончилась не только династия Клавдиев, закончилась целая эпоха. Незримый постановщик того неповторимого

по грандиозности действия, каким была римская история, предоставил последнее слово приверженцу стародедовских принципов Гальбе и как будто бы защитнику республиканских традиций Отону, но роли их оказались очень и очень короткими. Престарелого Гальбу, тщетно взывавшего о помощи, забросали камнями, а потом изрубили мечами сторонники Отона. И потом «обозники и харчевники», сквернословя, таскали по городу на пике седовласую голову римского патриция, отданную им на потеху новоиспеченным императором. Плутарх, у которого Гальба вызывал симпатию простотой образа жизни и приверженностью к старине, подчеркивал впоследствии в его жизнеописании, что трагедия этого последнего из настоящих римлян заключалась в том, что он повел себя в отношении своего полуварварского окружения, северных наемников так, как будто бы это были граждане и воины времен Сципиона, Фабриция и Камилла.

Затем пришел черед и Марка Сальвия Отона, первого мужа куколки-Поппеи, которую у него увел Нерон. Он процарствовал совсем немного и покончил с жизнью, бросившись грудью на острие меча, одолеваемый сторонниками Вителлия. Как и его незабываемый патрон, он не захотел упорствовать в борьбе за власть или же видел, что это бесполезно. Последыш старинной патрицианской семьи, Отон оказался бессилён перед неотесанным Вителлием, так же как его «развращенные безумием и изнеженной мирской жизнью» сторонники — пред вышедшими из лесных городищ германскими наемниками. В Бриксиле Плутарху показали скромный могильный камень с надписью «Памяти Марка Отона». С победой Веспасиана пришел конец и Вителлия, которого к этому времени ненавидела вся Италия, измученная грабежами и насилием. Когда, полуголого, его волокли на форум, народ, как писал об этом римский историк Светоний Транквил, «осыпал его издевательствами, не жалея ни слова, ни дела, одни швыряли в него грязью и навозом, другие обзывали обжорой и поджигателем». Так один за другим эти незаурядные люди истребляли друг друга в борьбе за самое вожаделенное из прав — право господства над другими. Плеонаксия — ненасытная жажда власти — всегда оставалась одним из самых любопытных явлений для Плутарха, и он вывел в своих сочинениях целый ряд одержимых этой страстью людей, но так и не смог объяснить, что же, в конце концов, ими двигало. Не корысть — потому что многие из них погибали, не успев

насладиться плодами достигнутого могущества, а их детям, если они были, тоже не доставалось ничего. Как оказалось, мало всей славы Александра Македонского, для того чтобы заслонить от удара кинжалом (или кухонным ножом?) его единственного малолетнего сына. В свое время Фемистокл, Спаситель Эллады от персов, так объяснял и победу греков, и собственную роль в этой победе: «Это не мы, которые сделали это». То же самое мог, вероятно, сказать почти каждый из выдающихся людей, за великими, равно как и бесславными делами которых стояла все подчиняющая историческая необходимость. И когда жизнь всего народа развивалась по восходящей, великие мужи изумляли своим благородством и героизмом; когда же все шло на спад — повергали в ужас, ставили в тупик жестокой беспощадностью и низменным кипением страстей.

Главным, что вынес Плутарх как историк из этой поездки, было окончательное осознание глубинной близости греков и римлян, их древнего родства, возможно, даже происхождения от общих предков. Конечно, за тысячу или более лет, что прошли после прибытия этих отдаленных прародителей в Грецию или в Италию, в каждом из их потомков накопилось столько чужеродных примесей — и от обитавших здесь раньше племен, и от людей с востока, что общий первоначальный тип теперь уже трудно было представить. Это общее, отличающее греков и римлян их лучшей поры от тех варваров, которыми, по Аристотелю, являлось все остальное население земли, теперь, когда их историческая жизнь близилась к концу, эта родственность ощущалась все более ясно.

В своих «Римских изысканиях» Плутарх обращается к преданию о том, что сабиняне, предшественники римлян, переселились сюда из Лакедемона, спасаясь от непомерной строгости ликурговских законов. Об этом напоминало и название Тарпейского холма — в память о печально знаменитой скале в Спарте, откуда сразу же после рождения сбрасывали слабеньких младенцев. Вспоминая слова Гераклида Понтийского о «греческом городе Рима, лежащем где-то на берегу Великого моря», он считает, что не лишено вероятности предание о том, что Рим был основан выходцами из Трои или же их ближайшими потомками. Доказательством этому мог служить сохраняющийся в одном из старинных римских храмов «троянский палладий» —

изображение девы-богини, упавшее с неба когда-то в начале времен и спасенное якобы Энеем из пламени Трои.

Согласно еще одному преданию, которое приводит Плутарх, основателем римского рода Эмилиев был Мамерк, сын самосского философа Пифагора, прозванный Эмилием за учтивость обращения и благозвучность речей. Он считает также весьма вероятным, что сам Пифагор, бежавший в Италию от ярости невежественной толпы, оказал немаловажное влияние на становление римского государства, был наставником царя Нумы и даже сумел ему внушить собственные представления о Высшей божественной силе, пронизывающей все сущее. «Мы неоднократно слышали в Риме, — пишет Плутарх в связи с этим, — что однажды оракул повелел римлянам воздвигнуть у себя в городе статую самому мудрому и самому храброму из греков, и тогда де они поставили на форуме два бронзовых изображения: одно — Алкивиада и другое — Пифагора». Плутарх никак не комментирует явную несопоставимость выбранных фигур: Пифагора, олицетворявшего всю глубину непостижимого греческого гения, и Алкивиада — этот блестящий символ вырождения греческого племени. Для римлян было, по-видимому, главным, что оба они являлись греками.

С этих пор Плутарх будет постоянно подчеркивать тему грекоримского родства. Не последнюю роль в этом сыграло, возможно, и подспудное стремление как-то способствовать доброжелательности к грекам влиятельных римлян. Даже такие серьезные различия, как любовь к искусствам, склонность к высшему умствованию и мягкость нравов, свойственные грекам, и — пренебрежение возвышенным, суровость и жестокость римлян, были объяснимы, если последние происходили от спартанцев или во многом следовали им. Ведь сама Спарта была в этом отношении исключением в Элладе. К тому же, эти различия принадлежали больше прошлому, поскольку вот уже два столетия как образованные римляне и италики с восхищением черпали из той сокровищницы эллинской образованности и культуры, к которой и сами-то обитатели провинции Ахайя обращались все реже.

Три столетия минули с тех пор, как в Риме появились академик Карнеад и стоик Диоген, их лекции имели необыкновенный успех у родовитой молодежи. Марк Порций Катон и другие ревнители старинного благочестия призывали сенаторов оградить молодежь от

развращающего и расслабляющего влияния бродячих торговцев ложной мудростью. Был издан специальный эдикт, философы были изгнаны и какое-то время было запрещено заниматься даже риторикой и грамматикой.

Впрочем, стоило ли осуждать за это римских законодателей, стремящихся оберечь суровые добродетели квиритов, если в самой Элладе в ее лучшую пору не раз принимались подобные постановления против тех, кто ставит под сомнение верования предков и стремится доискаться до тех тайн мироздания, которые, по-видимому, никогда не постигнуть никому из смертных. Ведь не кто иной, а именно афинский народ изгнал Анаксагора и Протагора, присудил к смерти Сократа. Был выставлен на рабском рынке Платон и умер заеденный вшами философ Каллисфен, которого воспитанник Аристотеля Александр возил в собой в клетке. Невежественное большинство всегда относилось с опаской к излишне умствующим, возможно, ощущая интуитивно, что существуют некие пределы, выйдя за которые взыскующий истины разум вступает в противоречие с жизнью. Об этом напоминал и чтимый всеми Софокл, считавший, что истинная мудрость состоит в том, чтобы следовать не людьми заданным законам бытия, а не пытаться в слепой самонадеянности их опровергнуть. Оказался прав и он, и другие мудрецы Греции и Рима, стремившиеся сохранить одномерное представление о жизни, но были правы и те, кто пытались объяснить невидимое и умопостигаемое — иначе сама жизнь, состоящая словно бы из одних случайностей, была бы лишена некоего высшего смысла. Что касается Плутарха, то он никакое занятие не ставил выше философии, хотя ни ему самому, ни кому-либо другому из его просвещенных современников уже было никогда не достигнуть глубины их великих учителей.

Среди римлян и италиков становилось все больше любителей старинной поэзии и философии, многие читали в подлиннике Фукидида и Демосфена, — это в какой-то мере примиряло Плутарха с чуждым ему образом жизни римлян и делало не особенно существенным многое из того, что шло вразрез с его собственными представлениями. Теперь даже среди едва «вышедших в люди» вольноотпущенников считалось хорошим тоном привести к месту и не к месту несколько строк из Еврипида или же Меандра, не говоря уже о

многих знатных людях, обретших в уже несуществующей Элладе свое духовное отечество.

«Будущность показала неосновательность злого пророчества, — писал Плутарх, имея в виду предостережения Катона от увлечения греческой ученостью. — Рим достиг вершины своего могущества, хотя принял с благожелательностью греческие науки и греческое воспитание». И здесь, как в целом ряде других моментов, он противоречит сам себе, так как та часть римлян, что вполне оценила значение греческой культуры, принадлежала к внутренней непримиримой оппозиции. Для таких, как Соссий Сенецион или же Местрий Флор, с ужасом вспоминая германских наемников Вителлия, Плутарх тоже казался почти своим. Понемногу складывалось нечто вроде спасительного братства, что-то вроде пифагоровой школы или же эпикурова сада среди сонмища тех, кто жили только вовне и для которых вообще не существовали те, для кого внешнее есть всего лишь искаженное отражение умопостигаемого.

Рим жил своей обычной жизнью, приученный еще с последнего столетия Республики к постоянным празднествам, щедрым угощениям и кровавым зрелищам, которых никогда не было у греков и жестокость которых никогда не казалась чрезмерной ни наглой черни, ни северным наемникам и едва освобожденным рабам. И если во времена Цезаря и Цицерона на римских улицах сражались, бывало, сторонники соперничающих кандидатов на консульство и трибунат, то теперь обычным делом стали настоящие бои между поклонниками модных актеров или гладиаторов. В последнее время в особенном фаворе были «синие» (школа гладиаторов, в одежде которых преобладал синий цвет), и еще не забылось, как император Вителлий убил несколько человек прямо в цирке за то, что они поносили «синих». Император Веспасиан, сам равнодушный ко всякого рода зрелищам, тем не менее начал строительство огромного амфитеатра. Вероятно, он считал, что пусть уж лучше звериные инстинкты не меняющихся ни при каких обстоятельствах подданных выплеснутся в цирке, чем на улицах, угрожая, как не раз уже бывало, покою и порядку в государстве.

Для Плутарха же все это как бы не существовало. Он почти не упоминает о том, что приводило в безнадежное отчаяние элегантного Петрония и питало сарказм Марциала. Он не убеждает себя, подобно

Сенеке, что можно творить даже посередине торжища, среди пирожников и торговцев сладостями, нахваливающих свой товар, или же в помещении над общественными банями, размышляя о смысле бытия под доносящиеся снизу шлепки массажистов и оглушительный плеск плюхающихся в бассейн. Лишь вскользь упоминает он о неразборчивости римских женщин, избегающих обременять себя семейством, тех самых, которых, по словам Петрония, «распалает лишь вид гладиатора, или покрытого пылью погонщика ослов, или, наконец, актера на сцене, выставляющего себя на показ». Таких и в Греции уже было предостаточно. Только зрелище травли зверей, приводящее прямо-таки в экстаз римскую публику, выводит Плутарха из равновесия. И прекрасные африканские звери, заточенные, как смертники, в цирковых клетках, наблюдать которых он ходил в свободные от представлений дни, все больше кажутся ему более достойными сострадания, чем люди.

Разделяющий во многом учение Пифагора о том, что и животные имеют душу, Плутарх будет впоследствии не раз обращаться к этой теме в своих трактатах («О полезности животных», «О мясоедении» и др.), где за советами, увещеваниями не обижать, не мучить животных проглядывает незабываемый ужас римских игр. Он уверен, что кто жесток к животным, тот такой же и в отношении людей. Кто не уважает чужую жизнь, пусть даже это жизнь, казалось бы, совершенно не нужного существа, тот не способен на высокое творчество, и, возможно, в значительной степени поэтому среди римлян было так мало настоящих философов, поэтов и художников. «Сам я, — писал Плутарх в биографии Катона, известного своей бесчеловечностью, — не то что одряхлевшего человека, но даже старого вола не продал бы, лишая его земли, на которой он воспитался, и привычного образа жизни и ради ничтожного барыша словно отправляя его в изгнание, когда он уже одинаково не нужен ни покупателю, ни продавцу».

В трактате «О полезности животных» Плутарх не только осуждает чревоугодников, которые не щадят даже благородных птиц, журавлей и лебедей, запирают их в темноте с выколотыми глазами и откармливают особыми приправами, но вообще предлагает отказаться от мяса. Ведь питался же Пифагор только хлебом с медом, а отказ от пожирания живых существ, наделенных и душой, и неким подобием разума, должен, по его мнению, изменить к лучшему природу самих людей.

«Неприлично нам употреблять то, что имеет душу, как обувь или вещи, которые бросают, когда они изнашиваются, — писал Плутарх в трактате „О мясоедении“. — Если не для чего другого, то для упражнения в человеколюбию нужно через это приучать себя быть кротким и милосердным. Животные и сами по себе достойны сострадания, как существа, одаренные душой, чувством, смышленостью, зрением». Уничтожение без нужды животных вредит природе и грубо нарушает ее законы, внушал он впоследствии ученикам Аристобулу, Никандру, Гераклеону, тем самым человек подготавливает собственную гибель.

Какой там отказ от мясоедения, когда в «Письмах к Луцилию» Сенека с горечью отмечает, что, кажется, единственный род состязаний, который еще интересуется его соотечественников, так это состязания в изобретении все новых, невиданных и неслыханных, пагубных для здоровья блюд: «мякоть устриц, раскормленных в иле», знаменитая «союзническая приправа, эта драгоценная сукровица протухших рыб... жжет соленой жижей наши внутренности», «эти гноящиеся куски, что идут в рот прямо с огня». Казалось, что все создания природы, всё, что летает, бегают, ползает и плавает, существует только для того, чтобы быть пожранным на тянущихся до рассвета застольях, а затем выблеванным в отхожем месте после принятия соответствующего лекарства. В Риме до сих пор вспоминали о грандиозном блюде, придуманном самим Вителлием и названном им «щитом Миневры-градодержицы»: перемешанные воедино «печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен, за которыми он рассылал корабли и корабельщиков от Парфии до Испанского залива».

И если раньше чечевичная или бобовая похлебка, домашние лепешки с куском жареной свинины, репа и капуста питали сильные и совершенные в своих пропорциях тела, то от теперешнего изобилия множились уродства и болезни: «сотни приправ, распаляющих прожорливость... от этого и бледность, и дрожь в суставах, где жилы расслаблены вином, и злейшая, чем при голодании, худоба от поносов... развитие желчи, хилость и внутреннее гниение».

Если читать одновременно или же одно за другим «Сатирикон» Петрония, «Письма к Луцилию» Сенеки и сочинения Плутарха, то можно подумать, что все это написано в совершенно разные времена. В диалогах и трактатах Плутарха почти не просматривается та

реальность, которая приводила в отчаяние и, в конце концов, уничтожила нероновых дружков. И создается впечатление, что херонейский мудрец не только творил всю жизнь свой собственный мир, из ностальгического любования своей бессмертной родиной, но и носил повсюду этот мир с собой, словно черепаха панцирь. Это был его Сфейрос — принадлежащее только ему замкнутое пространство, населенное лишь тем, что он хотел там видеть, а вся неподвластность чуждого внешнего мира оставалась за невидимыми непроницаемыми стенами. Так жили, в сущности, и почитаемый им Гераклит, и недолюбливаемый им Эпикур. Так живет почти каждый мыслящий и творческий человек на закате эпохи, и по другому быть не может, ибо иначе ему не выстроить ту собственную модель разумно устроенной ойкумены, которая есть и его главная задача, и он сам.

Из поездки в Рим Плутарх вынес три основных убеждения, определивших во многом его дальнейшую общественную деятельность и направление литературного творчества. Он еще больше укрепился в той главной истине, воспринятой еще от деда и отца, что именно Риму суждено стать последним господином и защитником их ветшающего мира. Сорокаметровый трофей Августа, которой довелось ему видеть у подножия Альп, или же триумфальная арка в Араузионе, украшенная мраморными головами галльских вождей, по-прежнему возносились как символы имперской мощи над постепенно приобщаемой к городской жизни западной частью их Ойкумены. Римские легионы, состоящие по большей части из северных варваров, пока еще охраняли границы огромного государства, и никто из его обитателей, даже самых недовольных и отчаянных, и в мыслях не держал, чтобы покинуть империю, потому что за ее пределами их не ждало ничего, кроме скорой гибели. И хотя тяжелое господство Рима, о котором не раз напоминает Плутарх, оставляло не так уж много свободы даже для состоятельных людей, история не оставляла им выбора. Им уже почти не принадлежал их собственный, исконный мир, но другого не было вообще.

И второе — не оставалось сомнений в том, что лучшие времена Вечного города также отходят понемногу в прошлое. Повсюду были заметны те признаки вырождения, прежде всего духовного и нравственного, о которых применительно к Греции писали когда-то Фукидид, Платон и Аристотель. Такие же ужасные междоусобицы,

когда, по словам Плутарха, римская держава «испытывала потрясения и муки, схожие с воспетыми в сказаниях муками и борьбой титанов — раздираемая на много частей сразу и снова яростно устремляющаяся сама на себя». Тот же упадок в искусстве и литературе, поверхностное зубоскальство и аляповатые поделки. «В наши дни не появляется ни одного здравого произведения, — так начинает свой „Сатирикон“ Петроний, — ни одно из них не доживает до седых волос. Живописи суждена та же участь». И действительно, он сам и Сенека да несколько более или менее одаренных поэтов неронова времени были последним значительным явлением латинской литературы, и только создатели исторических сочинений или же размышлений на философско-этические темы сохраняли еще почти столетие уровень, хотя бы в чем-то сопоставимый с Цицероновыми трактатами.

Толпе всегда были непонятны и смешны «и Демокрит, и Зенон, и Платон, загадочный словом. Все, у кого заросло грязной лицо бородой», но теперь, как без всякого сожаления подчеркивал поэт Марциал, они казались особенно бесполезными. Равным образом были не нужны мудрые законодатели, бескорыстные и мужественные военачальники, патриархальные отцы больших семейств, чьи здоровые телом и духом сыновья считали делом чести умереть за родину. Новые люди, «наглые, рьяные, горячие», люди «неизмеримой алчности», по словам Корнелия Тацита, полезли из всех щелей, как тараканы по запущенному дому, не признавая ничего, кроме наживы. И чем больше Плутарх всматривался в окружающую жизнь, тем чаще приходило ему на ум, что недалеко то время, когда суровый Рим, двоюродный брат Спарты, отойдет в область преданий, как и свободная Эллада. Однако он не воспринимал это так трагически, как его римские друзья, для которых еще был болезненно жив гордый образ республиканского Рима. Ведь в Греции все это уже произошло, и все же они были живы и даже продолжали, как могли, ту вечную битву за понятие бытия, которую им завещали их вневременные учителя.

Осознание общности исторической судьбы сближало даже больше, чем крепнущее убеждение в глубинной общности происхождения. Эта похожесть, даже некий параллелизм основных этапов, событий и фигур, становилась для Плутарха все более заметной по мере углубления в римскую историю. Он решает овладеть латынью и досконально изучить написанное не только Цезарем или же

особенно импонирующим ему Цицероном, но и менее значительными сочинителями, чтобы еще раз убедиться в наличии той закономерности в развитии событий и смене эпох, которую отмечал в свое время Полибий. Из множества заметок и записей, сделанных в Италии, складываются понемногу небольшие сочинения о римских древностях, первые наброски к будущему грандиозному сооружению «Сравнительных жизнеописаний». Идея воссоздать весь путь, пройденный Грецией и Римом от древних царей и мифических героев до последних императоров, запечатлеть почти тысячелетнюю историю в образах выдающихся людей (пусть иногда это были скорее антигерои, чем герои) становится все более определенной, выходит на первый план, и ее осуществлению будет подчинено все дальнейшее существование Плутарха.

Еще будучи в Риме, Плутарх получил весть о болезни и кончине его первенца Хирона. Тогда он приложил все усилия к тому, чтобы не обнаруживать свою скорбь, чтобы не омрачать настроение своим нескольким друзьям, которым собирался показать Грецию. Такую же твердость духа проявила и Тимоксена, разделявшая, как и ее супруг, идеи Пифагора и Платона о благой судьбе не делавших зла душ, тем более души их невинного сыночка. Друзья Плутарха были удивлены полным порядком и спокойствием в его доме — доме людей, веривших в то, что нет вечной разлуки, а есть только временное расставание.

79 год принес для империи неожиданные беды: внезапно проснулся Везувий, засыпав раскаленным пеплом три города. Море затопило побережье Кампании, в Риме случился пожар, бушевавший три дня. Но самое страшное — скоропостижно скончался от лихорадки император Веспасиан, и население замерло в тревожном ожидании: каким-то окажется их новый повелитель Тит? Известный ровным обращением и рассудительностью, любимец легионеров и римского народа, старший сын покойного императора был как будто бы снисходителен и к провинциалам, на что прежде всего хотел надеяться Плутарх. Однако уже через несколько месяцев стало очевидно, что Тит, во всем подражавший отцу, тоже может быть «не в меру скрытным и суровым», и грекам особенно рассчитывать не на что.

Глава 4. В цитадели самодостаточности

Если бы только можно было купить за деньги душевное благополучие. Впрочем, о многих, пожалуй, было бы справедливо сказать, что они предпочтут богатство без душевного благополучия душевному благополучию, за которое пришлось бы расплачиваться деньгами.

Но нельзя купить за деньги беспечальность, величие духа, стойкость, решимость, самодавление.

Плутарх

Возвратившись из Рима с еще большим убеждением в том, что избранный им размеренный, может быть, на чей-то взгляд монотонный образ жизни, подчиненный осуществлению главной цели, является единственно правильным для того, кто хотел бы сохранить себя как личность, Плутарх стремился всеми силами поддерживать сложившийся уклад, не отступая даже в мелочах. Его дом, жена, дети и впоследствии ученики, немногие друзья, многочисленные свитки и собственные рукописи становятся для него той цитаделью, к стенам которой все теснее подступал уже почти не принадлежащий им мир. И оттого что последователь бессмертных философов ощущал с подсознательной тревогой, как неумолимо идет к концу отпущенное грекам время, он дорожил каждым днем как праздником, ниспосланным богами. Все больше воспринимая собственную жизнь как одну из остановок (согласно Пифагору и Платону) в вечном или, по крайней мере, неизвестно сколь долгом странствии своей монады через слои и срезы Космоса, Плутарх старался не потратить зря ни одного часа, сделать как можно больше, словно бы отрабатывая данные ему Демиургом способности. Все, писавшие о жизни Плутарха, отмечают его неизменное спокойствие, величавое достоинство, не покидавшие его ни при каких обстоятельствах, но

иначе и быть не могло, если речь шла о человеке, перед мысленным взором которого проходили века и поколения.

В отличие от эллинов прошлого, которые почти не бывали дома, занятые военными делами и политикой, проводя время с друзьями и гетерами, равнодушные к виду своего жилища и не уделявшие особого внимания отношениям с женой, все это имело большое значение для Плутарха. Обращаясь к этой теме в своих трактатах, он советует так поставить дом и хозяйство, так распределить обязанности между домочадцами и слугами, чтобы на долю хозяина оставалось лишь «важнейшее и главное». Хорошим, по его мнению, можно считать жилье, где достаточно света, тепла и свежего воздуха, а если что не так, то можно переставить и переделать. Но главное в доме — это не стены и окна, а взаимопонимание между его обитателями. «Ты смотришь на изделия каменщиков и плотников и говоришь, будто именно это дом, а не то, что обретается внутри, — дети, супруга, друзья, служители и все прочее, что, будучи устроено сообща разумно и здравомысленно, даже в муравьиной куче или птичьем гнезде называлось бы хорошим и счастливым домом».

Несмотря на стремление строить жизнь согласно традиционным греческим канонам, Плутарх все равно остается человеком своего времени во взглядах на целый ряд вещей, в том числе и в отношении женщин. С одной стороны, повсеместное падение нравов, особенно в Риме, где развратные бесплодные матроны, описанные Петронием и Сенекой, казалось, утратили не только женские, но и вообще человеческие черты, заставляло по-новому взглянуть на суровость патриархальных ограничений. В то же время ни грекам, ни римлянам никогда уже было не вернуть своих жен к затворничеству гинекея. И поэтому Плутарх, считая, что прежде всего надо воспитывать у девушек равнодушие к роскоши и отвращение к разлагающей бездеятельности, уповал главным образом на просвещение — то единственное, что было еще в их силах. Он надеялся, что знакомство с поэзией и философией, занятия математикой сделают не столь существенными в глазах молодых гречанок «расшитые золотом сандалии, ожерелья и браслеты, пурпурные одежды и жемчуг» и что «учась геометрии, жена постыдится плясать и не даст обмануть себя заклинаниям чародеев, коль зачарована творениями Платона и Ксенофонта».

В трактатах «О доблести женщин», «Наставление супругам», «Книга любви» и в других сочинениях Плутарх излагает свои взгляды на женщину прежде всего как на продолжательницу рода, которая скрепляет каждую семью, а следовательно, и город, народ. Он советует женщинам разумно ограничить круг общения, сосредоточив внимание на семье, любить больше всего своих детей — и тогда, вопреки модному тезису о тягостной ненужности брака, и в супружестве можно «прожить жизнь столь же славную, сколь и счастливую». Он приводит многочисленные примеры мужества, высокой гражданственности женщин прошлого, которые были не только равны в этих качествах мужчинам, но порой превосходили их. Он описывает этих героинь как образец для подражания, словно не считая существенным главнейшее из обстоятельств, которое делало теперь ненужными и доблесть, и самопожертвование, — их историческое поражение, при котором и детей-то рожать было не для чего.

В собственной супруге Плутарх нашел, по-видимому, идеальную подругу для самодостаточного существования в том общем мире старинных сочинений, возвышенных бесед и размышлений, который они с годами предпочитали почти не покидать. И хотя Плутарх пишет о любви, которая «не только не знает осени и процветает при седине и морщинах, но остается в силе и до могильного памятника», представляется возможным говорить о том, что это была скорее та глубокая дружба, основанная на духовном родстве и взаимной поддержке, которая, не характерная для эллинов, связывала первых христианских подвижников с их верными спутницами. Это особенно видно в «Слове утешения к жене», написанном в те тяжелые дни, когда умерла, не дожив и до трех лет, их дочурка Тимоксена, а Плутарх как раз был в отъезде, как и тогда, когда умер их первенец.

В этом письме все вещи предстают словно бы на пересечении различных граней бытия: малютка Тимоксена на коленях у матери — лепечущее дитя его горьких и сладостных воспоминаний, и бессмертная душа, воспарившая к вышним пределам в ожидании будущих рождений. «Только, дорогая жена, щади и себя, и меня в нашем несчастье», — пишет Плутарх и просит Тимоксену и в горе держаться с обычным достоинством. И не только для того, чтобы не дать недоброжелателям повод для низкой радости, но главное потому,

что дочь их теперь гораздо счастливее в иных, недоступных им пределах.

Со странным, казалось бы, при подобных обстоятельствах спокойствием он рассуждает о счастье незнания жизненных благ и вечном стремлении к свободе души, плененной в теле, как в темнице: «А твоя Тимоксена лишена малого, ибо мало она познала и малому радовалась; а о чем она не имела ни представления, ни помысла — можно ли говорить, что она этого лишилась?» И, наверное, он сам хочет верить, как утверждали Пифагор и Платон, что смерти действительно нет, так, как мы ее понимаем, и дочурка его, ее бессмертная сущность, продолжает свое бытие в ином состоянии, сохраняя в себе навсегда вечный свет их недолгой любви.

«Но уразумей, — пишет он Тимоксене, — что бессмертная душа испытывает то же, что плененная птица: если она проведет в теле долгое время, то привыкает к условиям этой жизни и становится ручной. Выйдя же на волю, она снова воплощается и в ряде рождений не престаёт подвергаться здешним испытаниям судьбой... Если же плененная душа пробудет в теле лишь недолго, то, освободившись, она сохраняет лучшее состояние, как бы воспрянув к своей природе после расслабляющего уклонения». Для Плутарха недолгая встреча их душ была той нежданной милостью, на которую только и может рассчитывать человек перед Вечностью: «И промежуточное двухлетие надо не исключать из памяти, но принять как минувшую радость... если судьба не дала нам того, на что мы надеялись, то это не должно отменять нашу благодарность за то, что было дано».

Так Плутарх уговаривал, успокаивал жену, и трудно сказать, чего здесь было больше — спокойной веры в жизнь вечную и, возможно, даже надежды на встречу в иных пределах, или же самим им не признаваемого желания умерить разумом скорбь.

В свое время философ Демокрит, прозванный Смеющимся за то, что ничего не принимал всерьез, не советовал людям мудрым вообще иметь семью. Он считал, что радости, доставляемые детьми, малы и ничтожны, а беспокойство и страдания значительны. С тех прошло пятьсот лет, и детей понемногу перестали иметь не только философы, но и обычные граждане. Уже историк Полибий сокрушался по поводу того, что прекрасные женщины Эллады избегают деторождения. Это началось и в Риме уже в последнее столетие Республики, особенно

среди людей родовитых, которым, по словам Корнелия Тацита, был «в тягость даже единственный сын». Император Август строжайшими эдиктами пытался вернуть в лоно семьи словно бы соревнующихся в разврате матрон, и все равно — исконных обитателей Рима и близлежащих италийских областей становилось все меньше. Зато неуклонно возрастало число «новых граждан» из северо-западных и особенно восточных провинций. Шла постепенная замена населения, которую уже было не остановить никакими эдиктами. Мельчающие потомки свирепых северных воителей, вторгшихся более тысячи лет назад на земли Италии и Греции, теперь без сопротивления уступали завоеванному пращурами пространство сирийцам, киликийцам, иудеям и прочим восточным людям, а также выходцам из Испании и Галлии, полным нерастраченной энергии.

При таком состоянии дел для Плутарха становится главнейшим завет Платона о том, что вырастить достойный «урожай мальчиков и юношей» является первейшей задачей каждого из смертных: «Ведь и у животных, так же как и у людей, смертная природа по возможности старается стать бессмертной и достойной вечности. А достичь этого она может только одним путем — деторождением, оставляя всякий раз новое вместо старого... Другого способа нет. Не удивляйся же, что каждое живое существо по природе своей заботится о своем потомстве. Бессмертия ради сопутствует всему на свете рачительная эта любовь». И поэтому в «век выгодной бездетности» подлинным богатством Плутарха были его сыновья, Соклар, Автобул и Плутарх, которых он стремился воспитать в осознании того, что они — наследники былого величия Эллады, и внушить им то самое главное, без чего уже было просто не выжить, — необходимость сплоченности и взаимной поддержки. Для Плутарха его семья была маленьким самодовлеющим мирком, где еще сохранялось то, чего уже почти не было в мире внешнем, жестоком и неподвластном: и почтенные родители, и не знающие жестокого обращения невольники, и любимые деревья и животные, собака или конь, и, наконец, его дети, которые, как он надеялся, унаследуют не только отчее добро, но и его отношение к миру.

Всегда помня один из главных тезисов «Государства» Платона — о том, что «даже наиболее одаренные от природы души, получив дурное воспитание, становятся самыми дурными», Плутарх придавал

особенное значение выбору воспитателя. Он был против того, чтобы поручать детей педагогам из рабов или же странствующим учителям сомнительного происхождения. Он советовал тщательно осведомляться о прошлой жизни и нраве воспитателей, прежде чем впустить их в свой дом.

Свои педагогические взгляды Плутарх излагает в трактатах «Об обучении мальчиков», «Об изучении поэзии» «О слушании философов», «О душевном спокойствии», «О том, как преуспеть в добродетели», постоянно обращается к этой теме в своих исторических сочинениях. «Кусок земли хорош уже сам по себе, — пишет он в одном из своих „Моралиа“ (рассуждений на темы нравственности и этики), — но без должной заботы он превращается в пустырь, и чем он лучше по своей природе, тем больше он портится от пренебрежения, оставшись без обработки». Для него было самым главным — воспитать у молодежи преданность отечеству, любовь к учености и отвращение к наживе, умение довольствоваться малым, чувство сплоченности: «Должно с самого начала внутренне направлять и вести всех единым путем, памятуя о том, что все они — граждане одного города, люди одной земли, а не путешественники, которые сели на корабль по различным надобностям и соображениям и объединяются ради общего блага только в минуту опасности, страшась за собственную жизнь, в остальное же время смотрят каждый в свою сторону». И пусть их отечество в теперешнем его состоянии — лишь захудалые провинциальные городки, где на всем лежит печать неповторимого прошлого, но другой земли, какого-то пристанища для них не приготовлено, так что, лишившись этого местопребывания, последние из эллинов рассеются, как пыль, среди неизвестных пространств и народов. В их теперешнем положении не на что было надеяться, кроме как на себя самих, на собственные человеческие качества, формирование которых у молодежи Плутарх считал даже более важным, чем овладение необходимым запасом знаний.

Для молодых людей, как считал Плутарх, главное — это усвоил, законы нравственности и справедливости. Для него, так же как для Эсхила, совесть даже важнее разума. Надо, чтобы перед ребенком с детства были достойные для подражания образцы, чтобы он был окружен взрослыми, которые хорошо различают добро и зло и не подменяют правду выгодой. Об этом так писал в свое время Платон:

«Когда посылают детей к учителям, велят учителю гораздо больше заботиться о благовоспитанности детей, чем о грамоте и игре на кифаре... учителя кладут им на столы творения хороших поэтов, чтобы они их читали, и заставляют детей усваивать их, — а там много наставлений, много повестей, и похвал, и прославлений древних доблестных мужей, — чтобы ребенок, соревнуясь, подражал им и стремился стать таким же». Одним из таких учителей хотел видеть себя и Плутарх, убежденный в том, что очень многое в жизни человека зависит от воспитания, которое может сделать не столь уж значимыми заложенные от природы недостатки. Он считал, что хорошее образование и воспитание должны получать дети как состоятельных, так и бедных родителей, а также сироты, поскольку «сиротство, хотя и таит в себе множество всяких бед, нисколько не препятствует сделаться достойным и выдающимся человеком».

Четыре столетия назад неимущий философ Эпикур, прозванный Спасителем людей, учил в своем Саду в Афинах молодых и не очень молодых людей, как прожить достойно и даже счастливо и тогда, когда, казалось бы, все потеряно и жить просто незачем. Он пытался поддержать впадающих в отчаяние греков в первые десятилетия македонского владычества, когда трудно было даже осознать, что впереди у них нет ничего, кроме зависимости, почти что рабства, и нищеты. С тех пор греки стали еще менее свободными, бедность сделалась уделом большинства, им вообще было нечего ждать, и Плутарх, хотя он всю жизнь оставался язвительным критиком Эпикура, по сути, продолжал его дело. Словно во времена Софокла, он внушал молодежи, что деньги — это зло, что «порой уместно отказаться даже от выгоды, причитающейся по праву, чтобы тем более приучать себя сторониться несправедливой выгоды».

«Подобно тому, тело, здоровое от природы, не нуждается ни в лишнем платье, ни в лишней пище, — пишет Плутарх, — так здраво устроенная жизнь и дом обходятся имеющимися в наличии средствами». «Ведь, в сущности, человек нуждается в весьма немногом — в хлебе, кое-какой приправе, жилище, скромной одежде, — учил Плутарх, — что же касается стремления к труднодоступному и бесполезному, страсть к золоту, слоновой кости, породистым собакам и лошадям, так это только осложняет, омрачает и,

в конце концов, укорачивает жизнь, данную божеством совершенно для другого».

И хотя все вокруг говорило о том, что ценность каждого измеряется количеством драхм в его кошельке, Плутарх вопреки всему продолжал внушать, что золото, как учил Платон, внутри человеческих душ, что это прежде всего «честь истинная, недоступная и недосыгаемая для зависти и хулы, возрастающая от помышлений о содеянном нами на гражданском поприще». Он хотел, чтобы молодые люди были готовы к любому повороту судьбы, не боялись лишений, никому не завидовали, «спокойно довольствовались, чем пришлось», но, в отличие от внушавшего то же самое Эпикура, он избегает самого слова «наслаждение», в котором Платон видел величайшую из приманок, ведущую к злу.

Плутарх учил бережному отношению ко всему живому, «благодарности и кротости к рабам, а если и к рабам, то тем более к друзьям и подчиненным». Как для эллинов прошлого, для Плутарха было самое главное — заслужить уважение городской общины. Поэтому в своих трактатах он уделяет большое внимание тому, как общаться с разными людьми, о чем с ними говорить, чтобы произвести благоприятное впечатление. Он советует юношам быть скромными, не вступать самим в беседу со старшими и отвечать лишь тогда, когда спрашивают; «Когда ошибаются, отвечая, спрошенные, по справедливости получают они прощение, а те, кто без спросу вылезают и перебивают других, несносны, даже если они ответят правильно, а уж коли ошибутся, вызовут у всех насмешки и злорадство».

Он советует ученикам накрепко усвоить знаменитые изречения Пифагора, расшифровывая их туманную мудрость; «Не давай руки каждому» — это значит «Не дружись слишком быстро и легко». «Не вкушай от черного хвоста» — это значит «не проводи время с людьми черной души, дабы не претерпеть от их злой воли». «Не клади пищи в худой сосуд» — надо понимать, что не годится вкладывать умные речи в пустую голову.

В чем же Плутарх видел основные пути формирования личности, способной сохранить своего рода автономию даже в печальную пору безвременья и угасания? Для него это прежде всего труд, привычка к дисциплине, самоограничению, а также общение с благородными

людьми, и еще более — с их общими вневременными современниками, великими поэтами, философами и историками. Каждодневные упражнения для тела и ума, — пишет он в трактате «Об образовании мальчиков», иначе привычка к удовольствиям и отвращение к труду разовьются у молодого человека до такой степени, что он сделается хуже животного. Плутарх словно бы не хочет замечать, как нарастает вокруг апатия и люди все больше предпочитают полуголодную праздность каким-либо занятиям. Впрочем, его советы и поучения были обращены к молодым людям, от рождения имеющим средства к существованию, и речь шла о занятиях главным образом умственных.

Плутарх приводит обширную аргументацию из прошлой жизни греков, ссылаясь на Гесиода, который «призывает к справедливости и к рачительному ведению хозяйства и бранит лень — начало всякой несправедливости». Но если пятьсот лет назад благочестивый Фокион не смог спасти афинян от дальнейшего разложения призывами вернуться к патриархальной простоте и сельскому труду, то еще меньше на это мог надеяться Плутарх. Вероятнее всего, он и сам это понимал, но продолжал ревностно исполнять свой долг, не столько даже перед живыми, сколько перед мертвыми.

«Вести простую жизнь, уметь держать язык за зубами, переносить голод, не давать воли рукам» — вот то главное, что должен усвоить молодой человек, чтобы не стать со временем в тягость и себе, и людям, а долг воспитателей с суровой требовательностью развивать и укреплять в нем эти качества, подобно тому как садовник выращивает крепкое и стройное деревце, привязывая его к колышку и обрезая все лишнее. Кажется, если бы это зависело от него, Плутарх бы возродил такое воспитание, как в Спарте, когда она еще жила по законам Ликурга, — «очень строгое и полное трудов, но зато приучавшее юношей к повиновению». Что вообще не соответствовало требованиям его времени, когда, чтобы выжить и преуспеть, нужны были совсем иные качества.

Считая старинную поэзию одним из главных средств воспитания благородства души, Плутарх приводит целый ряд советов относительно того, что и как следует читать, чтобы дать молодым людям правильное представление о цели жизни и «не отправить их в открытое море в эпикуровой лодке». Он советует читать вместе с

учениками Гомера, Эсхила, Софокла, Еврипида, Пиндара, подчеркивать все добродетельное и доблестное в их героях и отмечать, как порицаются неблагоприятные поступки порочных людей, если поэтам случается о них говорить. Особенно, по мнению Плутарха, полезен Гомер, который, еще только приступая к рассказу о чем-то, заранее «изобличает все плохое и призывает наше внимание к тому хорошему, что содержится в его речах».

Хотя для Плутарха поэзия всегда оставалась лишь введением в философию, он признавал совершенно иную природу поэтического творчества. Как и для Платона, поэзия для него была нечто вроде священного безумия, источник которого «не внутри, а вне нас». В трактате «О том, как молодым людям следует изучать поэзию» Плутарх рекомендует сравнивать стиль и приемы великих поэтов, обращать внимание на различия в истолковании известных мифологических сюжетов. Он особо останавливается на значении художественного вымысла, элементов фантазии, которые, подобно краскам в живописи, придают художественному произведению жизненную убедительность яркость и блеск: «это верно, что бывают жертвоприношения без танцев и флейты, но мы не знаем ни одного поэтического произведения без фабулы или же без выдумки».

В поэзии его привлекали прежде всего примеры благородных человеческих качеств, возвышенных чувств, и то не сравнимое ни с чем наслаждение, которое получает человек от настоящей поэзии.

В своих трактатах о воспитании и образовании Плутарх подробно останавливается и на тех методах, посредством которых достигается наилучший результат. Он убежден, что нет детей, неспособных к обучению, надо только найти к каждому правильный подход: «И вообще, дети способные легче припоминают услышанное однажды, но у тех, кто воспринимает слова учителя с усилием, память более цепкая: все, что они ни выучат, словно выжженное огнем, запечатлевается в душе». Он советует не перегружать детей занятиями, разумно чередовать их с физическими упражнениями и прогулками, поскольку «как растения при умеренном количестве влаги питаются ею, а при большом ее количестве глхнут, так и душа от умеренных трудов развивается, а чрезмерными подавляется».

Следуя традициям знаменитых афинских школ, Плутарх считает лучшей формой обучения дружескую беседу, вроде тех, что остались

навек запечатленными в «Диалогах» Платона. Он советует педагогам воздерживаться от гнева, поменьше наказывать детей и особенно — не прибегать к телесным наказаниям. Подобно евпатридам свободной Эллады, он продолжает стоять на том, что юноши из хороших семей не должны заниматься физическим трудом и общаться с рабами, что им не следует также поддерживать знакомство с иноплеменниками, чтобы «не заразиться варварством». Настойчивое стремление сохранить у молодежи столь характерное для греков свободных времен чувство превосходства над всеми остальными «варварами» кажется тем более анахроничным, что поддерживать его можно было только замкнувшись в тесном кружке родственников и знакомых, затворившись в своей усадьбе как на острове.

Плутарх советует воспитывать в детях с ранних лет серьезное, можно даже сказать, торжественное отношение к жизни, обращая их помыслы к вечным загадкам человеческой души и «неизреченным тайнам природы». И тогда знающему истинную цену настоящему и ложному молодому человеку не будет стоить никаких усилий «пройти мимо театра с потешным представлением, вырваться от приятелей, что тянут с собой посмотреть на плясуна или комика, а на шум, поднявшийся на стадионе или ипподроме, даже не обернуться» Трудно было бы, кажется, надеяться на серьезный успех такого рода наставлений, но советы, идущие от глубочайшей убежденности в том, что мир этот — не «сутолока торжищ и судилищ», не звериное ликование цирка, но храм божий, эти советы полновесными зернами падали в юные души, чтобы дать со временем благодатные всходы.

Возможно, что где-то в эти годы Плутарх осуществил и свое давнее желание посетить Египет, увидеть пирамиды, побывать в древних храмах, где когда-то приобщались к сокровенному знанию Пифагор и Солон, поработать в библиотеке Александрии. И вот в начале лета, когда обычно отправлялись в плавание греческие корабли, он отплывает из афинского Пирея в направлении Крита, чтобы, продвигаясь вблизи азийских берегов, достичь через несколько дней той таинственной «черной земли» Хеми, где зародились много веков назад письменность и государственность, той древней страны, с которой Геродот связывал начало и эллинской культуры.

Плутарх отправляется в Египет в поисках мудрости, как в свое время Демокрит, Геродот и другие стремящиеся к знаниям греки, но и

сам он был совершенно другой, и в Египте уже мало что сохранилось от казалось бы бессмертного величия страны фараонов. После того, как отжили свой срок египетские царства и кончилась власть могучего жречества, пески неумолимо подступавшей пустыни все больше заносили некрополи и уходили в небытие последние хранители знаний, унаследованных будто бы от затонувшей Атлантиды. Опустели древние храмы, на стенах которых, как говорили жрецы, была записана история от самых отдаленных времен, и даже сами египетские божества и древние религиозные догматы все больше истолковывались в духе стоической философии. Религия предков оставалась тем единственным, что еще связывало с прошлым вымирающее коренное население — испокон века не знавших свободы коричневых земледельцев-муравьев. Египтяне продолжали справлять традиционные обряды (которые не считали нужным запрещать ни эллинистические цари, ни римские наместники), но и для них уже мало что значили Исида, Осирис или Гор; крестьяне вернулись к более древним, первоначальным верованиям, и у каждой общины было свое божество: ибис, кошка, крокодил или же павлин, в их честь продолжались попойки по несколько дней и даже устраивались потасовки, когда почитатели ибиса кулаками и палками доказывали его превосходство над каким-то другим животным — божеством соседней деревни.

Возможно, Плутарху еще удалось увидеть последних из египетских жрецов и беседовать с ними о сущностном смысле древних богов, об их месте в мироздании, постигнуть которое стремился он сам, обращаясь к этой теме во многих своих сочинениях. Сложная иерархия богов Египта времен фараонов производила на Плутарха такое же впечатление величественной мощи, как великолепные храмы и, казалось, неподвластные времени пирамиды, как все древнее, которое было для него тем ценнее, чем оно было древнее. Не одобряя восхищения некоторых греков и римлян восточной и египетской культурой, Плутарх в то же время считал заслуживающими внимания религиозные представления египтян, в которых он находил ту же целостность мировидения, то же единение человеческой души и Космоса, что и в старинной религии греков, и даже написал об этом специальный трактат.

Многочисленные памятники неповторимого мира, представшие перед Плутархом на Черной земле, становящейся все более желтой из-за подступавших песков, словно запечатлели в себе то величавое спокойствие первоначальных времен, которого давно уже не знали его соплеменники, снедаемые внутренней тревогой. Казалось, создателям барельефов, на которых один за другим шли из века в век рыбаки с сетями, полными рыбы, земледельцы в коротеньких фартуках, с корзинами плодов на голове, а за ними — быки, гиппопотамы, крокодилы и ибисы, был вообще неведом тот страх, который, по словам Фукидида, «не только поражает память, но подавляет всякие руководящие правила, честолюбие, стремления, если философия не предоставила своей опоры». Но ко времени Плутарха не помогала уже и философия, люди пытались топить в вине страх перед жизнью, заглушать его кровавыми зрелищами, и было лишь два пути избавиться от этой смертельной тревоги: один — полное очерствение души, безразличие ко всему на свете, и второй — глубочайшая вера в конечную разумность бытия. Она одна помогает сохранить душу даже в самые трудные времена, позволяет перешагнуть через черту, которая для многих оказывается последней, и взойти на новую ступень неизвестно сколь длинной лестницы, по которой разумные существа поднимаются от праха земного к своей небесной прародине.

Вся тщета земного величия предстала перед Плутархом, когда он шел по горячему песку к гигантским гробницам Хеопса и Хефрена, этим рукотворным горам из гладко обтесанных каменных блоков. Воздвигнутые на крови и мучениях сотен тысяч рабов, жизнь которых не имела цены, и все же живых и цеплявшихся за свою страшную жизнь, пирамиды могли показаться Плутарху одним из воплощений того жестокого варварства, против которого всегда восставала его взыскующая человечности душа.

Теперешний же Египет, каким он предстал перед Плутархом в Александрии, населенной греками, иудеями и другими выходцами с Востока, жил по тем же законам, что и остальное население империи. Предметом интереса всех жаждущих мудрости оставался Мусейон — этот Дом муз, основанный более трех столетий назад царем Птолемеем, одним из наследников Александра Великого, где находила себе более или менее сытное пристанище греческая ученость, ненужная в захиревшей Элладе. В Мусейоне получили возможность

для творчества многие поэты (среди них Каллимах и Феокрит) и ученые, математики, астрономы, грамматик. Казалось бы, греческий стиль возобладал здесь повсюду. И в то же время жизнь Египта продолжала зависеть от тех самых причин, что и в древности, от тех особенностей земли и климата, которые определили когда-то строй сложившегося здесь общества. По-прежнему жизнь была сосредоточена вокруг Нила, который, по словам греческого писателя Ахилла Татия, оставался для египтян всем: «и река, и земля, и море, и болото. Трудно поверить своим глазам, когда видишь соседями корабль и кирку, весло и плуг, руль и серп, моряков и земледельцев, рыб и быков. Там, где ты только что плыл, ты можешь засеять поле, а засеянное поле окажется возделанным морем». И, как когда-то фараон, римский наместник бросал в положенный день золотой кубок в разлившиеся воды Нила, чтобы тот и впредь кормил превосходным хлебом не только Египет, но в значительной мере и Рим.

Около ста лет назад император Август включил Египет в римские владения, сюда были посланы легионы — и это, кажется, пошло стране на пользу. Повсюду можно было видеть тучные поля и огороды, фруктовые деревья и купы пальм, множество скота, в том числе знаменитых египетских быков — необычайно крупных, с массивной шеей, плоской спиной и мощным животом. Их круто поднимавшиеся надо лбом рога походили на полную луну. Каналы, плотины, многочисленные строения удивили Плутарха после зарастающих сорняками выморочных поселений Греции.

Два главных города, Птолемаида в Верхнем Египте и Александрия в Нижнем, поражали многолюдством и роскошью, столь непохожей на строгое совершенство Афин. «Я прошел через ворота, которые называются Вратами Солнца, — рассказывает о своих впечатлениях от Александрии герой романа Ахилла Татия, живший всего несколькими десятилетиями позднее Плутарха, — и передо мной развернулась сверкающая красота города, наполнившая радостью мой взор. Прямые ряды колонн высились на всем протяжении дороги от ворот Солнца до ворот Луны... Прямо передо мной рос лес колонн, пересекаемый другим таким же лесом. Глаза разбегались, когда я пытался оглядеть все улицы... Казалось, что город больше, чем целый материк, а население многочисленнее, чем целый народ». Однако при ближайшем рассмотрении это население оказывалось все тем же не слишком

сытым и злоязычным охлосом, что и в Элладе. Александрийцы, известные насмешники, всегда, от самого основания города были чьими-то подданными и жили в своем большинстве, как и обыватели восточных городов, той жизнью, слагающейся из каждодневных забот о пропитании, суеверий и дешевых удовольствий, которая всегда наводила Плутарха на мысли о ничтожности чуждого просвещению существования. Когда дела шли получше, кварталы соревновались между собой за право построить еще один храм возлюбленному императору, а если цены и подати росли, то Веспасиана, например, начинали честить «сардиночным мешочником» (за налог на соленую рыбу), и охлос с камнями и дубинами выходил на улицу, требуя хлеба и справедливости.

Так же как в Риме, Антиохии или любом большом городе, Плутарх был бесконечно далек от толпы, которая повсюду была одинакова и которую все с большей условностью можно было считать народом. К счастью, где бы он ни бывал, всегда находились причастные к философии люди, и слушая их беседы о видимом и сокровенном, нельзя было не вспомнить слова одного из философов прошлого о том, что мудрец не имеет отечества. И это нисколько не умаляло любви к его маленькой родине, потому что любовь ко всему миру начинается, по словам Анаксагора, именно с этой частицы мира, с которой ты связан нерасторжимыми узами, даже если судьба увела тебя далеко от места рождения.

Общение с александрийскими учеными имело немалое значение для размышлений Плутарха о природе и человеческой жизни, но все же главным для него были бесценные свитки Александрийской библиотеки, с пожелтевшего папируса которых словно бы доносились до него голоса историков, натурфилософов и писателей прошлого. Он чувствовал в них ту энергию человеческой мысли — этой движущей силы бытия, перед которой бессильно само время. Теперешние ученые мужи Мусейона, отличаясь незаурядными познаниями в астрономии, филологии и медицине, уже не дерзали на философские обобщения, предпочитая скрупулезное исследование какого-то отдельного предмета. Здесь, так же как в афинских Ликее и Академии, был давно уже утрачен вкус к общему, к тому «понятию бытия» в целом, за которое так яростно сражались между собой философы прошлого. И среди довольно большого числа кормившихся при Мусейоне тщетно

было бы искать новых Демокрита или же Зенона, тем более что при распределении вакансий император, лично ведавший этим делом, не всегда считал главной природную одаренность. К тому же большие дарования обычно ершисты и неудобны, да и кто их там разберет, дарования ли они вообще. Мусейон с самого начала был своего рода отделом искусств при царском дворе Птолемеев, что сразу же ставило в определенные рамки свободу творческой мысли, налагало отпечаток на нравы служителей муз, кормящихся милостью монарха. А после того как потомки Птолемея были вынуждены уступить власть над Египтом римлянам, пределом мечтаний философов или же грамматиков из Мусейона стала должность секретаря в местной имперской канцелярии или же домашнего учителя в Риме.

Здесь, в Египте было особенно отчетливо видно, как далеко ушли не только лучшие времена страны фараонов, но и молодость соплеменников Плутарха, и оставалось только надеяться, что величие прошлого подвигнет к новым свершениям какие-то новые поколения, еще только идущие из смутной беспредельности будущего.

Между тем империю облетела неприятная новость — умер император Тит и преторианцы присягнули Домициану. Немного вздохнувшие при последних двух императорах, потомки старинных римских родов затаились в тревоге, не ожидая ничего хорошего от нового властителя, известного своей жестокостью и подозрительностью. И хотя на первых порах Домициан, как писал об этом Светоний, «держался скромно и с достоинством, поминутно краснел», многие усматривали в нем новую беду для государства и, как показало время, не ошиблись. Впрочем, из провинций, особенно восточных, все виделось несколько иначе: подобно своему отцу и брату, Домициан, кажется, был настроен покровительствовать способным и состоятельным провинциалам, в том числе и из Ахайи, и даже привлекать их на высшие должности. Тем более что эти люди не питали никаких добрых чувств в отношении так долго грабившего и унижавшего их римского нобилитета, неприятного и Флавиям. Провинциалы ждали от Домициана только одного — милосердия, надеясь, что он ничего у них не отнимет, даже если ничего и не даст.

Продолжавший заниматься делами родного города Плутарх не уставал напоминать согражданам об их общей несвободе, предостерегая от беспочвенных надежд, понимая всю относительность

как собственных, так и чьих бы то ни было полномочий: «Какая уж власть, какая слава может быть у побежденных? Что за полномочия, которые могут быть отменены и переданы другим простым распоряжением проконсула и которые ничего не стоили бы даже в том случае, если бы их никто не отменял?» В отличие от тех способных и энергичных соотечественников, которые, махнув рукой на угасающую Грецию, искали удачи в чужих краях, «оставляя дела родного города и доживая до старости подле чужих дверей», Плутарх продолжал усердно исполнять любые общественные поручения, сколь бы незначительными они ни были. Он надзирал за стоком грязных вод и общественными постройками, бывал распорядителем при жертвоприношениях и на сопровождавших их пирах, во всем стремясь быть полезным общине. Примером для него был историк Полибий, который также стремился помочь соотечественникам, ходатайствуя о них перед римскими военачальниками еще во времена республики. Как, например, в случае с ахейскими изгнанниками, которые, уже стариками, просились вернуться на родину. Во время прений по этому поводу в сенате поднялся Катон и заявил: «Можно подумать, что нам нечего делать: целый день сидели и рассуждали, кому хоронить старикашек-греков — нам или ахейским могильщикам». И тем не менее им разрешили вернуться, а Полибий, не останавливаясь на этом, просил возвратить изгнанникам почетные должности, которые они прежде занимали в Ахайе.

Занимаясь делами города, Плутарх был равнодушен к похвальным декретам, почетным местам в собрании, пурпуровым одеждам и даже памятным статуям во весь рост (нередко оплаченным самим же изображаемым), ко всем этим почестям, давно уже ставшим предметом купли-продажи, за которые обычно расплачивались щедрыми угощениями. Быть может, он старался даже не ради сограждан, в большинстве своем уже недостойных уважения, но «ради мертвых» — ради славного прошлого Херонеи, которая продолжала оставаться для него одним из последних очагов «подлинной беспримесной Греции».

Пытаясь выяснить, как же они дошли до своего теперешнего состояния, Плутарх пробирался к отдаленным временам греческой государственности и не мог никак отыскать, когда же и где оно было — это сообщество свободных и благородных граждан, объединенных

«не узами оков», о которых говорит Еврипид, но сплоченных стремлением к «прекраснейшему и божественному бытию». Изучая поучительный и горестный путь эллинских городов-государств, Плутарх все больше убеждался в том, что лишь единение граждан является залогом жизнеспособности общества, и поэтому первостепенная задача каждого политика состоит в том, чтобы «всегда внушать живущим совместно единомыслие и дружбу, а всяческую вражду, несогласие и недоброжелательство истреблять, как это делается, когда мирят друзей».

Он постоянно обращается в своих писаниях к этой теме — необходимости добрососедских отношений, взаимоуважения и поддержки между живущими рядом, в одном городе. И это наводит на мысли о том, что соотечественники Плутарха не оставили свои бесконечные распри, продолжая то ужаснейшее из состязаний, когда, по словам киника Диогена, один стремится столкнуть другого в канаву поглубже, — и это в то самое время, когда все они давно оказались чуть ли не на самом дне. Плутарх считал, что дело здесь не только в зависти, честолюбии и нетерпимости, но прежде всего в том, в чем он видел смертельную язву каждого общества, — непримиримых противоречиях между имущими и неимущими. «Платон говорит, — пишет он в одном из трактатов, — что блаженно и счастливо то государство, где „мое“ и „не мое“ считаются наихудшими словами и все рвение, какое только есть, граждане употребляют на общее дело».

Борьба между богатыми, готовыми скорее бросить свои богатства в море, чем поделиться с бедными, и бедняками, которые не раз в истории Эллады выходили на улицу с камнями и дубинками, уже несколько столетий назад подточила могущество греческих полисов и сделала их бессильной добычей чужеземных царей и военачальников, которые, играя на противоречиях между греками, выступали на стороне то состоятельных граждан, то на все готового обнищавшего демоса. Теперь же все богатства Ахайи сосредоточились в руках нескольких людей. В истории остались имена таких богачей, как Юлий Никанор, купивший целый остров Саламин, или же Гиппарх, состояние которого оценивалось в сто миллионов сестерциев. Казалось бы, что могла теперь значить не сводящая концы с концами беднота, и все равно состоятельные люди побаивались ее и старались утихомирить раздачами и угощениями. Они строили новые храмы,

театры и общественные здания, щедро жертвовали на проведение празднеств, и все равно время от времени, особенно когда поднимались цены на хлеб, в городах вспыхивали волнения, уличные стычки, и было ясно, что ничто и никогда не помирят сытых и голодных.

Будучи противником любых переделов, считая, что таким путем «ищут средств к существованию» прежде всего люди, не желающие трудиться, Плутарх в то же время видел первейший долг стоящих у власти в том, чтобы имущественное неравенство не переходило за опасную черту. В своих сочинениях он не раз обращается к Спарте, живущей по ликурговым законам, где «зажиточные люди потеряли все свои преимущества, поскольку богатству был закрыт выход на люди», где не было нужды «воровать, брать взятки или грабить, коль скоро нечисто нажитое и спрятать было немислимо и ничего завидного оно собой не представляло». Другого подобного примера гражданского равенства не было ни в Греции, ни в Риме, и оставалось только взывать к обязанностям богатых перед менее удачливыми согражданами, поддерживать которых считали необходимым великие мужи прошлого: «Ромул считал долгом первых и самых могущественных отеческое попечение о низших и одновременно хотел приучить остальных не бояться сильных, не досадовать на почести, которые им оказывают, но относиться к сильным с благожелательством и любовью, по сыновьему, и даже называть их отцами».

Признавая неизбежным естественное неравенство людей, Плутарх возлагал на общество основную заботу о том, чтобы никто не опускался до крайней нищеты. Порицая в трактатах «О сребролюбии», «О том, что не надо делать долгов» и других ту алчность, которую «не угасит ни серебро, ни золото», описывая отвратительные качества сребролюбцев, Плутарх, тем не менее, в отличие от Платона, не предлагает каких-то радикальных мер по борьбе с этим злом. Как представляется, преодоление стремления к богатству он связывал с общим моральным совершенствованием, возлагая основные надежды на просвещение и философию, которым одним лишь дано победить душевную нищету «человека, прикипевшего к обогащению».

Высмеивая «безбогатственное богатство» (по словам Феофраста), Плутарх считал тягу к накопительству одной из отвратительных болезней души, при которой, как он пишет в трактате «О

сребролюбии», скряга выносит всяческие тяготы, «не получая взамен ничего хорошего, как осел банщика, возящий дрова и хворост, которому всегда вдоволь достается дыму и золы, но не доводится быть вымытым, согретым и вычищенным». Так же как Демокрит и Платон, он советует родителям заботиться не о том, чтобы оставить детям большое наследство, но о том, чтобы воспитать у них разумные потребности и спокойное отношение к деньгам. Те же, кто растят людей расчетливых, сами пожалеют об этом: «За такое воспитание они и воздают отцам достойную плату, не любя их за то, что когда-нибудь получают, а ненавидя за то, что еще ничего не получают».

Предостерегая против опасностей богатства, Плутарх считал очень опасной и крайнюю бедность и, как когда-то Исократ предлагал Александру отправить всех неимущих скопом воевать против персов, он также призывает по возможности избавляться «от подонков, отбросов города, болезнетворных и сеющих смуту». Только в «среднем роде» людей, с умеренным, но прочным достатком, он видел надежную основу каждого общества, при этом наиболее верным источником благосостояния считал земледелие. В своих трактатах он дает множество советов, как избежать обнищания — прежде всего умеряя расходы и желания, приводит примеры благородной бедности, а имущих призывает поделиться с нуждающимися во имя гражданского мира.

Подлинным народом в его представлении были «сельские жители, остающиеся среди полей», а не городская чернь, «голосистая, словно цикада». Однако на полях теперь работали в основном рабы или же колонисты из Сирии или Сицилии, поскольку, по словам Диона Христороста, греческая беднота предпочитала полуголодное праздное существование в городе трудовой сытой жизни в деревне. В отличие от того же Диона Христороста, который еще надеялся своей яростью извлечь хоть какую-то искру из пепелища былой Эллады, Плутарх не ставил перед собой несбыточной задачи — вернуть невозвратимое. Порой он признает бесполезность собственных советов и поучений, так как «пересоздать естество народа» — дело, по-видимому, невозможное. И единственное, что, по его мнению, еще может сделать разумный и благородный человек, так это попытаться уберечь народ от окончательной гибели.

И чем больше горьких уроков он извлекал из общественной деятельности, тем более заманчивой представляется ему давняя иллюзия философов — возможность сочетания философии и власти. Примером такого сочетания ему хотелось бы видеть Александра Македонского, к личности и свершениям которого он не раз обращался в своих сочинениях. Как и для многих других исторических писателей, для Плутарха характерна идеализация Александра, хотя в отношении македонян вообще он испытывал то же чувство неприязни, так и не утоленной ненависти, как и большинство греков. «Коварство и зависть, присущие им от природы, — пишет он в одном из сочинений, — всегда побуждают их воевать, и, смотря по обстоятельствам, они пользуются словом „мир“ или „война“, будто разменной монетой, не во имя справедливости, а для собственной выгоды».

В двух своих речах «О судьбе и доблести Александра» Плутарх ставит перед собой довольно сложную задачу — доказать, что все побуждения и поступки великого завоевателя свидетельствуют о том, что он был прежде всего философом, достойным учеником Аристотеля.

Уже сама цель восточного похода, считает Плутарх, «показывает Александра как философа: он стремился не к собственному обогащению и роскоши, а к установлению среди всех людей согласия, мира и дружественного общения». И если основатель стоицизма Зенон считал за лучшее, чтобы у всех людей была бы «общая жизнь и единый распорядок», то Александр, мол, попытался претворить в действительность этот «образ философского благозакония и государственного устройства». И то, что это пишет Плутарх, для которого эллинский полис, казалось бы, навсегда остался идеалом общественного устройства, свидетельствует о драматической раздвоенности его мировидения, о его постоянном стремлении примирить любовь к навсегда утраченному с неизбежностью настоящего — империи, тоже единого огромного сообщества, живущего по единой указке.

Создавая идеальный образ великого македонянина (словно не желая замечать в нем тех недостатков, о которых он все же будет писать впоследствии в обширной биографии Александра), Плутарх до того подпадает под обаяние собственного творения, что готов, кажется, извинить сыну Филиппа разрушение Фив. В своем восхищении

энергией и силой человека, подобного которому уже вряд ли явит мир, Плутарх доходит до того, что сравнивает Александра с Платоном, и сравнение это оказывается не в пользу последнего: «Платон, написав единственное „Государство“, никого не убедил воспользоваться этой книгой по причине ее чрезвычайной суровости, Александр же, основав свыше семидесяти городов среди варварских племен и поселив в Азии греческие нравы, победил там дикий и звероподобный образ жизни».

Воспевая поистине нечеловеческую доблесть Александра, Плутарх словно бы полемизирует с теми многочисленными современниками, которые не видели иного выхода из безнадежности своего исторического поражения, кроме покорности Судьбе, той «любви к Року», о которой писал Сенека. Не считая Судьбу главной причиной побед Александра, Плутарх выдвигает на первый план его личные качества: «Но что показывают сами деяния Александра — произвол судьбы, воинственность, господство силы? Или же большое мужество и справедливость, большое здравомыслие и сдержанность, разумную последовательность, трезвый и проницательный расчет во всех поступках?»

Эта важнейшая из тем — значение Судьбы и личной доблести в жизни как Александра, так и любого смертного, определяет содержание второй речи о великом завоевателе. Остановившись на каждом из этапов жизни Александра, Плутарх с присущей ему обстоятельностью доказывает, что в любом его свершении Судьба почти не играла роли. Побеждают доблестью, пишет Плутарх, а Судьба, напротив, выявляет истинную цену каждого: «Так судьба, часто предоставляя робким и неразумным командные и начальственные обязанности, в которых обнаруживается их несостоятельность, тем самым возвышает и утверждает значение доблести как единственного, что придает человеку величие и достоинство». Представляется возможным говорить о том, что Судьба у Плутарха является чем-то менее грозным, чем неумолимый Рок софокловых трагедий. Ибо Плутарх не был бы Плутархом, если бы он не возлагал главную меру ответственности на самого человека, на его разум и дух, перед которыми может оказаться бессильной сама Судьба.

Плутарх словно бы не желает знать о множестве перебитых пленников (ведь они были не греки), о целом племени коссеев, принесенном в заупокойную жертву по другу Александра Гэфестиону,

о безумном убийстве другого его друга Клита, об издевательствах над философом Каллисфеном и о многих других жестокостях, о которых он напишет впоследствии, стараясь, впрочем, если уж не оправдать их, то хотя бы объяснить. В этих же двух речах, возможно, подчиняясь логике жанра панегирика, он рисует почти безупречный образ носителя культуры, благодетеля варварских народов: «Если же мы обратимся к делам Александра, то увидим, что он воспитал гирканцев для браков, научил арахосийцев земледелию, согдианцев убедил не убивать отцов, а питать их, персов — почитать матерей, а не жениться на них... Александр просветил Азию, читая Гомера, а сыновья персов и сузиан распевали трагедии Еврипида и Софокла».

Благородный и мужественный, чуждый стяжательству воин казался боговдохновенным героем в сравнении с теми ничтожествами, которые позорили престол в последние десятилетия еще свободной Македонии. Плутарх считает, что в значительной степени из-за скряжничества последнего царя Персея, так и не решившегося потратиться на наемное войско, Македония была завоевана римлянами. Как будто бы персеевы богатства могли остановить неудержимо разрастающуюся мощь нового хозяина Ойкумены. Спустя всего сто пятьдесят лет после империи Александра Персей шел пленником позади триумфальной колесницы Эмилия Павла и, лишившись рассудка, умер в римской тюрьме то ли от голода, то ли от того, что ему не давали спать.

По иронии Судьбы, третий из его сыновей, оставшийся в живых, носил имя Александр. Этот последний Александр Македонский, «как говорят, был весьма искусен в резьбе по дереву, выучился латинскому языку и грамоте и служил писцом у должностных лиц, считаясь прекрасным знатоком своего дела...»

Небольшие исторические сочинения служили своего рода подготовительными набросками к тому огромному циклу сравнительных жизнеописаний выдающихся греков и римлян, к которому в эти годы приступает Плутарх и который становится словно бы развернутым подтверждением морально-этических аксиом его диатриб. Приступая к созданию огромного биографического цикла, который понемногу отодвигает на задний план другие сочинения, Плутарх считал самым главным найти свой собственный ракурс, свой подход к истолкованию тех личностей, о которых уже писали его

предшественники. До наших дней не дошло почти ничего из биографических сочинений Аристоксена, Гераклида Понтийского, Сатира, Фания Эфесского, Праксифана, Иеронима из Кардии и других авторов, писавших о царях, философах и трагических поэтах. В то же время Плутарх, о чем свидетельствуют встречающиеся у него упоминания, был хорошо знаком с большинством из них. Он изучил оба вида такого рода сочинений: биографии Неанфа, Сатира или же Аристоксена Тарентского, с подробным описанием происхождения, внешнего вида, телосложения и здоровья героя, его пороков и добродетелей, с любопытными подробностями, главным назначением которых было развлечь читателя. И второй вид — энкомий, похвальное слово, какому-то царю, военачальнику или же политику, нередко весьма отдаленных времен, построенное в соответствии со всеми законами хвалебно-напыщенной риторики.

Возможно, что в своих первых опытах на этом пути Плутарх добросовестно следовал сложившимся биографическим канонам, ученически подражая авторам, от которых теперь остались одни имена, да и то не от всех. Однако чем больше вырисовывался для него собственный замысел, тем больше труды предшественников превращались всего лишь в источник сведений, причем не всегда достоверных. В своих сочинениях Плутарх обвиняет некоторых из них в недобросовестности, предвзятости и даже в клевете, как того же Аристоксена, который, «чтобы его клевета казалась более правдоподобной, спешит поставить рядом с ней похвалу».

И если многие предшественники Плутарха как бы стремились свести с пьедестала великих царей, полководцев и политиков прошлого, ставя своей главной задачей развлечь обывателей любопытными подробностями их жизни, то его собственный замысел состоял в осмыслении и истолковании законов истории, проявляющихся во многом через свершения выдающихся людей. И если в рассказах некоторых эллинистических авторов рядом с Александром Великим нередко соседствовали человеконенавистник Тимон или же какой-то знаменитый разбойник, то у Плутарха, отдавшего небольшую первоначальную дань и этим традициям, выбор героев определялся их ролью и местом на том или ином этапе греческой и римской истории. С годами, когда он лучше узнал Италию и овладел латинским языком, он стал находить все больше общего как

в истории греческих полисов и Римской республики, так и в судьбах большинства выдающихся греков и римлян, причем зачастую эта похожесть оказывалась настолько разительной, что как бы сами собой образовывались пары будущих персонажей Плутарха — его бессмертных диад, параллельных жизнеописаний.

Литературная известность Плутарха все больше выходит за рамки круга (впрочем, довольно широкого) его друзей и знакомых. Людей привлекала, помимо богатой и образной речи, спокойная ясность плутарховых писаний, столь непохожая на неистовую ярость или же отрешенную безысходность некоторых знаменитых его современников. Возможно, читающим его сочинения передавалась глубокая вера Плутарха в возможность разумной человеческой жизни, в спасительную силу любви, любви в самом широком понимании, о которой он пишет в своих трактатах («О любви», «О братской любви», «О любви к детям») и которая пронизывает все его творчество.

Прожив жизнь не угрюмым отшельником, обличающим всех и вся мизантропом, находящийся в дружеских отношениях со столькими людьми, что перечисление только их имен заняло бы несколько страниц, Плутарх был силен этой дружбой, его душа находила живительную пищу в доброжелательности и взаимопонимании приятных ему людей. Ему писали и к нему приезжали тяготеющие к учености люди из разных городов Греции, из Рима, Галикарнаса и Сард. Это были грамматика, врачи, историки, математики, риторы, поэты, путешественники и, конечно же, философы: пифагореец Лукиан, эпикуреец Александр, стоик Фемисгокл, Фаворин Арематейский, приверженец Аристотеля, и не менее ревностный последователь Платона Аристомед Эгейский. Среди друзей Плутарха был даже царь, но только уже без царства, Антиох Филопапп, внук комагенского монарха, которого Веспасиан лишил его владений.

Оставаясь в своих взглядах и писаниях словно бы эллином прошлых времен (или, по крайней мере, стремясь им казаться), Плутарх в то же время как никто другой видел и понимал, что все они, из какого бы роду-племени не происходили, пасутся теперь (почти что как мечталось когда-то Зенону) на общем имперском пастбище, но главное — что их разум и души продолжают в значительной мере питаться от культуры и мудрости свободной Эллады, для Плутарха единственной и вечной.

Глава 5. В Риме Домициана

*Древняя мудрость поучает только тому,
что надо делать и чего избегать, а люди
тогда были лучше. Когда ученых стало больше,
хороших стало меньше, потому что простая и
очевидная добродетель превратилась в темную
и
велеречивую науку и учит нас рассуждать, а не
жить.*

Луций Анней Сенека

Где-то около 90 года Плутарх второй раз едет в Рим, теперь уже не как начинающий общественный деятель на службе у своего города, но как довольно известный знаток философии и автор сочинений на морально-этические и исторические темы, собираясь выступить с публичными лекциями. Все теснее становилась его связь с образованными римскими друзьями, интересующимися историей и литературой, в отличие от херонейского окружения, в большинстве своем уже чуждого высшему умствования. Да и по всей Греции все более или менее одаренное и не утратившее вкус к творчеству устремлялось к центру их теперешней вселенной, надеясь найти применение своим дарованиям. Кроме того, по мере углубления в историю Эллады и Рима для Плутарха становились все очевиднее некие общие закономерности их развития и упадка, и он надеялся, что более близкое знакомство с италийской жизнью и историей поможет ему найти ответы на те вопросы, на которые он пока не мог ответить с достаточной определенностью.

Он ехал в Рим, немного опасаясь беспричинной жестокости невежественного и мнительного властителя, о чем писали ему друзья, в сравнении с которым его отец Веспасиан, также не пользовавшийся симпатией просвещенных нобилей, казался теперь почти идеальным. И хотя из Ахайи многое виделось иначе и новое правление пока не было отмечено притеснениями провинциалов, доходящие из Рима слухи заставляли призадуматься. В начале своего императорства

Домициан как будто не проявлял заметных признаков злобы или алчности и, напротив, не раз выказывал свое великодушие, главным образом в отношении простых людей, терпеливо вникая в спорные дела и стараясь удовлетворить многочисленные просьбы. Он даже простил часть недоимок и жестко пресек рвение доносчиков, ринувшихся, как это обычно бывает, к новому царственному уху. Потом, словно устав быть благожелательным и доступным, он стал избегать общения даже с наиболее близкими ему людьми и предпочитал прогуливаться в одиночестве. А еще через какое-то время стало видно, что после десятилетней передышки судьба послала римлянам, а вернее, аристократии, все больше вырождающейся, но так и не смирившейся со своим теперешним положением, нового — Лысого Нерона. Последовал ряд громких процессов по обвинению в нарушении «старинного благозакония», завершившихся ссылками и казнями. Так, уличенная в прелюбодеянии старшая весталка Корнелия, однажды уже обвинявшаяся в нарушении обета, но тогда оправданная, была похоронена заживо, а любовник ее до смерти засечен розгами. Проявляя нескрываемое пренебрежение к сенатской аристократии, Домициан, как в свое время Нерон, все чаще заявлял о том, что намерен во всем опираться на вольноотпущенников и передать им все важные должности в государстве.

Ко времени прибытия Плутарха в Рим город был уставлен золотыми и серебряными статуями императора, причем, как говорили, он сам назначал их вес. Дом, в котором Домициан родился, был превращен в храм, а сам он именовался не иначе, как сын и брат богов, имея в виду также обожествленных Веспасиана и Тита. При строительстве нескольких новых храмов и восстановлении после пожара Капитолия император на всех надписях велел начертать только свое имя безо всякого упоминания о прежних строителях. Опять с блеском справлялись многочисленные празднества и были учреждены новые Капитолийские игры, включавшие в себя литературные состязания на греческом и латинском языках, при том что сам император был, как все знали, равнодушен к искусствам и поэзии. Нобили потихоньку злопыхали, что император всему предпочитает игру в кости и что для него нет большего удовольствия, чем, запершись у себя в комнате, часами ловить мух и протыкать их острым грифелем. И хотя новый император навел некоторый порядок в

судопроизводстве, примерно наказав ряд судей-взяточников, а также принял меры по обузданию мздоимства столичных магистратов и наместников в провинциях, он не снискал этим любви и уважения народа, который больше ценит в правителях внешний блеск и обходительность, чем стремление навести порядок в делах. Ободренная общим настроением, снова подняла голову оппозиция в сенате, а философы все чаще позволяли себе публичные порицания тиранического произвола. Возвратившиеся после десятилетнего изгнания стойки готовились выступить против Лысого Нерона с такой же непримиримостью, с какой они боролись против Нерона настоящего, а Домициан, в свою очередь, только ждал случая, чтобы покончить с ними раз и навсегда. На его стороне были армия и преторианцы, а также немного вздохнувшее от непомерных поборов население провинций, и упрямое сопротивление кучки философствующих нобилей уже ничего не могло изменить в порядке, установившемся до самого конца римской истории.

У Плутарха, привыкшего, как и остальные греки, как все население провинций, простиравшихся теперь от Геркулесовых столбов чуть ли не до самой Индии, переживать тяжелые правления, как переживают засуху или недород, такие люди, как Домициан, вызывали чувство глубокого неприятия. Однако, живя с юных лет упорядоченной, наполненной разнообразными занятиями жизнью, вне зависимости от нрава очередного властелина, он был далек от того бессильного яростного гнева, который снесдал образованную римскую публику, в том числе и его друзей. Может быть, Плутарх относился ко всему этому значительно спокойней еще и потому, что произвол Домициана пока не затрагивал греков, особенно тех, кто побогаче. К тому же у него, всегдашнего сторонника порядка и законности, вызывали определенное понимание меры, предпринимаемые для их поддержания императором.

Написав ряд биографий римских императоров, Плутарх в то же время избегает оценок современных ему правлений. Так и о своей поездке в домицианов Рим он только походя упоминает в жизнеописаниях Демосфена и Попликолы, а также в трактате «О любопытстве» и восьмой книге «Застольных бесед», без каких-либо рассуждений на эту тему. Он ничего не пишет о том, когда и при каких обстоятельствах получил римское гражданство и принял имя Местрий

Флор, в честь своего друга, а также ничего не сообщает о том, какого рода общественные поручения он выполнял в столице. Плутарху хочется выглядеть прежде всего херонейским гражданином, свободным в своем выборе воспитанником Академии. И поэтому, когда речь заходит о Риме, он пишет только о том, что относится к самому главному — к философским и литературным занятиям. «Когда бывал я в Риме и других местах Италии, — вспоминает он в жизнеописании Демосфена, — то государственные дела и ученики, приходившие ко мне заниматься философией, не оставляли мне досуга, чтобы упражняться в языке римлян, и поэтому слишком поздно, уже на склоне лет, я начал читать римские книги».

Среди собиравшихся на его философские беседы бывали и известный оппозиционер Арулен Рустик, и будущий император Траян. Как и греческих юношей в Херонее, Плутарх учил своих слушателей уважению к добродетели, умеренности и милосердию, без которых просто не выжить в неподвластном человеку бытии. Подобно своим бессмертным предшественникам в философии, он надеялся повлиять на ход событий, вразумляя и смягчая нравы, словно не видя, что большинство живущих в Риме всего лишь подтверждают известное высказывание Аристотеля о том, что некоторые люди — только по виду люди, но по сути таковыми не являются.

В произведениях Петрония, Сенеки, Плиния Младшего и Светония Транквилла, в желчных эпиграммах Марциала встает коллективный портрет римского общества того времени, когда, хотя это казалось еще незаметным, надломилась сила империи и судьба ее на скрижалях истории была уже решена. Несмотря на попытки некоторых императоров, начиная с божественного Августа, сдержать разложение и вырождение римлян, ничто уже не могло положить конец этому нескончаемому пиршеству, на котором, как с бессильным отвращением писал Сенека, плешивые и подагрические «женщины и полунощничают, и пьют столько же, состязаясь с мужчинами в количестве масла и вина, так же изрыгают из утробы проглоченное насильно и грызут снег, чтобы успокоить разбушевавшийся желудок». Бесконечные празднества, когда все перепивались до рвоты, давно уже не имели ничего общего с всенародными торжествами первоначальных времен, с их девичьими хорами и простыми деревенскими жертвами в честь древних богов. Теперь вместо этого

были кровавые игры, травли зверей и конные ристания, поклонники модных возничих и гладиаторов отстаивали в рукопашной достоинства своих любимцев — единственные битвы, на которые были способны «молодые люди с красивой бородкой и прической, словно только что вынутые из сундука».

Ростовщики с толстенными книгами, в которые записывались сроки ссуд, тримахильоны, которых стало еще больше со времени Петрония, вкушающие жареных винноягодников и поросят из пирожного теста, завитые пантомимы с развратными глазами, женщины, неспособные к деторождению и потому снедаемые вечным неудовлетворением, — вот кого охраняли теперь от подступающего с севера варварства из варваров же набранные легионы.

И ничего из этого Плутарх даже не упоминает в своих воспоминаниях о Риме. Для него существовали только те, кто еще были способны или, по крайней мере, стремились воспринять хотя бы частицу мудрости его великих предков, именно таких собирал он на своих занятиях и делился с ними тем, что открылось ему самому за долгие годы изучения философии, а также собственными размышлениями о главных вопросах бытия. Особое внимание, помимо главного для него учения Платона, Плутарх уделял идеям Пифагора о метемпсихозе — многократных перевоплощениях души, которые с возрастом приобретали и для него самого все большее значение. Не утратившие вкуса к высшему умствованию римляне из высших слоев общества, а также молодые образованные люди из западных провинций, прежде всего из Испании, с удовольствием собирались на беседы Плутарха. Здесь можно было представить себя среди участников «Пиров» Платона, в саду Эпикура или хотя бы на чтениях поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей» в последние годы Римской республики. Учитель философии из Херонеи словно принес с собой в Рим атмосферу Академии, и даже не Академии своего наставника Аммония, но тех, казавшихся теперь почти мифическими времен, когда для собиравшихся в афинской роще героя Академа не было ничего важнее, чем внести и свою лепту в вечный спор между материей и доказательством. Не хотелось даже думать о том, что творится за пределами их воодушевленного собрания. «Когда в Риме я как-то раз выступал с беседою, — вспоминал об одном из таких занятий Плутарх, — меня слушал известный Рустик (казненный

впоследствии Домицианом из ревности к его славе). Внезапно появился воин и передал Рустiku письмо от императора. И хотя воцарилось общее молчание, я прервал свою речь, чтобы он мог прочесть послание, Рустик не пожелал этого сделать и не прежде распечатал письмо, чем я дошел до конца в своей речи и все собравшиеся разошлись».

Наиболее близким в Риме человеком для Плутарха всегда оставался Сосий Сенецион, известный политический деятель, впоследствии несколько раз избиравшийся консулом. Очень может быть, что, помимо любви к истории и философии, их сближало чувство гражданского долга, побуждавшее обоих добросовестно трудиться на общественном поприще при любых обстоятельствах. Сосий был первым читателем сочинений Плутарха, он приезжал в Херонею на свадьбу его сына Автобула, они вместе ездили в Афины. Благодаря Сосию, а также Гаю Минуцию Фундану (которого Плутарх сделал одним из участников своего диалога «О подавлении гнева») он углубил свое знание италийской старины.

Как и в Греции, он старательно выискивал повсюду, где бы ни бывал, памятники прошлого — небольшие старинные храмы, усыпальницы героев, триумфальные колонны, совершенные в своем архитектурном замысле сооружения, по сравнению с которыми казались плодами больного воображения гигантские сооружения Флавиев. Вот как писал Плутарх о дворце Домициана, словно соревнующемся с фантастическим обиталищем Нерона: «Если кто, удивившись роскоши Капитолия, увидел бы во дворце Домициана один только портик, или базилику, или бани, или покои наложниц, тот... не мог бы не обратиться к Домициану с такими приблизительно словами: „Ты и не благочестив и даже не щедр — ты просто болен“».

Впрочем, теперь на всей римской жизни лежал отпечаток болезненной вычурности, сопутствующей обычно последним периодам культуры. Теперь привлекало только искусственное и даже извращенное — одетые в женское платье мужчины, женщины-борцы, свинина, приготовленная так, что не отличишь от рыбы. Порой весь мир казался вывернутым наизнанку, но ничто не могло помешать философу из Херонеи вести привычный образ жизни. Встав со светом и «поев, по старинному обычаю, простой легкой пищи», он проводил свой день в сменявшихся друг друга занятиях. И так же, как писал о

своим выдающимся дяде-естествоиспытателем Плиний Младший, о Плутархе можно было сказать, что «потерянным он считал время, отданное не занятиям».

В стену его римского жилища был вделан шкаф, где лежали книги, сопровождавшие Плутарха во всех поездках, а в широкое, точно двери, окно были видны зеленые деревья и отдаленные горы.

Намереваясь по возвращении домой всерьез заняться латинским языком, Плутарх приобретал сочинения Цицерона, Марка Катона, Корнелия Непота, Марка Теренция Варрона, Гая Саллюстия Криспа, Веррия Флакка, Квинта Лутация Катулла и Гая Азиния Поллиона, в трудах которых запечатлелась вся прошлая жизнь римлян. Он обращался и к тем греческим авторам, у которых можно было почерпнуть что-то по римской истории, — к Дуриду Самосскому, Проматиону, Диоклу с Пепаретоса, который, как считалось, первым написал об основании Рима. Постепенно накапливались выписки и сведения, почерпнутые из личных бесед, порой чисто анекдотического свойства. «От наших современников, — пишет Плутарх в биографии римлянина Камилла, — мы слышали немало удивительных, заслуживающих упоминания рассказов, от которых не следует, пожалуй, отмахиваться с легкомысленным презрением». Под впечатлением поездок по Италии все отчетливее вырисовывались очертания его будущих «Римских изысканий», в которых ему хотелось изложить и собственную точку зрения на происхождение римлян (которых одни историки считали пеласгами, а другие — выходцами из Трои), на особенности их жизненного уклада.

В это время были, возможно, задуманы «Рассказы о римлянах», где, словно в противовес представшей перед ним печальной картине вырождающегося человеческого скопища, Плутарх решает воссоздать величественные образы знаменитых воителей и политиков прошлого. Это Манлий Курций, воевавший с самнитами на самой заре римской истории, Сципион Старший, остановивший три столетия назад армию Ганнибала, переправившуюся через Альпы, Павел Эмилий, победитель последнего македонского царя Персея, и другие выдающиеся мужи, из подвигов которых складывались слава и мощь Вечного города. Так же как и в отношении Эллады, ему хотелось показать и современникам, и всем тем, до кого дойдет молва об их уже

отживающем свое мире, что все это действительно было — и великие люди, и великие дела.

В то же время, следуя, с одной стороны, исторической правде, а с другой — стремясь выявить причины последующего упадка, Плутарх описывает и тех, дела которых, при всей их будто бы благой направленности, нанесли непоправимый вред «старинному благозаконию» Римской республики, приблизив ее падение. Это Гай Марий, Луций Корнелий Сулла, Гай Юлий Цезарь, в высшей степени незаурядные люди, поставившие однако, по мнению Плутарха, свое Я выше закона и государства. И здесь, при всей его скрупулезной приверженности к фактам, Плутарх, как и во многом другом, утопичен в своем видении хода истории. Хотя он уже определил для себя то время, когда переломилась судьба сначала свободной Греции, а затем и Рима, и само общество стало выдвигать таких людей, как Цезарь, благодаря которым жизнь государства еще могла продлиться, хотя бы по другим канонам, Плутарху все казалось, что если бы не эти люди, упадок республиканского Рима еще можно было б как-то не допустить.

Теме перерождения выдающихся людей у Плутарха сопутствует тема упадка самого народа, превращения победителей в обывателей, демоса в охлос — этот важнейший из вопросов, на который пытались ответить и Дион Христомом, и Сенека, и Плиний Младший. Одну из главных причин нравственной и неизбежно связанной с ней физической деградации людей Плутарх, как пять веков назад Софокл, видел во власти денег, в тяготении к роскоши и наживе. Именно это, считал он, надо искоренять с самой ранней юности: родителям — собственным примером, а учителям и наставникам — постоянными напоминаниями молодежи о бескорыстии великих людей прошлого, которые и сделались-то таковыми потому, что были равнодушны к вещам и золоту. Первыми из таких для Плутарха были фиванский стратег Эпаминод, после смерти которого в его доме «не нашли ничего, кроме железного вертела», и римский военачальник Фабий Максим, похороненный на добровольные пожертвования. Он с удовольствием живописует представлявшихся ему идеальными людей прошлого, которые «никогда не болтали попусту, никогда не произносили ни слова, за которым не было бы мысли, так или иначе заслуживающей того, чтобы над ней задуматься». Под стать мужьям были и жены, о которых также рассказывает Плутарх: спартанки,

«сопоставившиеся в мужестве с мужчинами», и римлянки, которые «вина не пили вовсе и в отсутствие мужа не говорили даже о самых обыденных вещах». Зато теперь они и говорили, и пили, умерщвляли собственных детей и без тени сомнения отправляли на тот свет надоевших любовников, из гладиаторов или же уличных актеров.

Тягостная картина вырождения римского общества, воссозданная в сочинениях Петрония, Сенеки, Плиния Младшего, не оставляла надежды на будущее, а если кто из мыслящих людей, как несколько позднее историк Тацит, еще считал, что у государства (не у народа) есть какие-то перспективы, то связывал их с населением северных провинций, и прежде всего с германцами. А пока не оставалось ничего, кроме ностальгической идеализации навсегда ушедшего прошлого или же самоубийственной покорности судьбе — «полюбить свой рок», как завещал Сенека. «С древних времен было заведено так, что мы учились от старших, — развивает излюбленную тему Плутарха Плиний Младший, — и не только с их слов, но и воочию тому, что вскоре предстояло делать нам самим... Поэтому юношей сразу же вводили в военную службу... Собственный отец был учителем сыну, а у кого отца не было, тому заменял отца самый строгий и почтенный сенатор». Это время ушло навсегда, и все обернулось в свою противоположность, продолжает он, завершая свои рассуждения: «И мы в молодости были на военной службе, но в то время храбрость была в подозрении, а бездеятельность в цене, у вождей не было авторитета, а у солдат послушания... все было разнуздано, спутано, извращено; все вообще следовало скорее забыть, чем запомнить... То же самое зло видели мы и терпели в течение многих лет... За эти годы мы отупели и согнулись, для будущего мы сломлены».

Именно с этим никогда бы не мог согласиться Плутарх, избегавший чрезмерно черных красок и порицавший ацедию, охватившую еще не потерявших человеческий облик римлян, — бездействие и безразличие к собственной судьбе, какими бы неподвластными им обстоятельствами ни было вызвано такое состояние. Это обостренное чувство бессилия греки уже испытали во времена Эпикура с его призывами к атараксии (той же ацедии) в самом начале своего исторического поражения. С тех пор прошло почти четыреста лет, казалось, греками было потеряно все, тем не менее, жизнь продолжалась и надо было прилагать усилия к тому, чтобы

продлить ее дальше. И поэтому, в отличие от Сенеки и Плиния, Плутарх противопоставляет нарастающей «нравственной порче» глубокое убеждение в возможности и необходимости самосовершенствования.

Одну из главных причин деградации Плутарх видел в праздности, в отходе значительной части населения от созидательного труда и особенно — от работы на земле. Именно от скопления большого количества ничем не занятых людей, считал он, происходят беспорядки и волнения в городах. Для этого в старину выводились колонии, предпринимались большие строительные работы и дальние походы — чтобы «занять граждан, дать выход их силам, чтобы, сидя дома в безделии, они не обольщались речами своих вожakov и не затевали мятежей». Конец греческой свободы был предопределен уже тогда, считал Плутарх, когда демагоги стали добиваться благосклонности граждан всякого рода раздачами, привозным хлебом, наводнили Элладу рабами и превратили в конце концов независимый и деятельный демос в паразитический и лицемерный охлос. Конечно, причины перерождения демоса были гораздо сложнее, связанные с общими необратимыми изменениями хозяйственного уклада греков, но безудержная демагогия тех кожевенников и ламповщиков, которых так ненавидел последний защитник земледельческой Греции Аристофан, сыграла свою зловещую роль. И опять же не только из-за отвратительных человеческих качеств тех людей, которые заправляли на агоре в последние десятилетия демократии, а в силу той объективной логики смены форм правления и типов власти, которая описана у Полибия. Подобное происходило и в Риме в конце республики, и только императоры, начиная с Флавиев, стали предпринимать меры к тому, чтобы возродить в Италии хозяйственную жизнь, и то главным образом за счет отпускаемых на волю рабов да переселенцев из восточных провинции.

«Говорят, что погубил народ тот, кто первым его подкупил; а тот, кто первым так сказал, хорошо понимал, что толпа теряет свою силу, когда ставит себя в зависимость от подачек, — пишет Плутарх в „Наставлении о государственных делах“ и повторяет этот тезис во многих других сочинениях. — Но подкупающим стоит поразмыслить над тем, что себя они тоже губят, когда тщатся ценой великих затрат при обрести продажную славу и этим делают толпу уверенной и

дерзком, ибо ей кажется, что в ее власти что угодно дать и что угодно взять». Он часто пишет «толпа» там, где во времена Ксенофонта и Фукидида писалось бы «народ». Народ для него — это демос свободных греческих полисов или же римские граждане «золотого, не знавшего пороков поколения». Обывателей, перемалывающих городские сплетни на мраморных скамьях под афинскими платанами, или же любителей уличных представлений со всякими уродцами Плутарх не считал за народ. По мере изучения истории греков и римлян для него становилось все более очевидно, что если всмотреться в нее внимательно, она развивалась как неуклонное вытеснение и уничтожение худшими лучших, о чем с горечью писал еще Фукидид.

Пытаясь найти ответ на вопрос, почему же так происходит, он приводит разные мнения. Так, некоторые, объясняя и даже оправдывая господство одних людей над другими, ссылались на «древнейший из законов, который отдает сильному имущество слабого и которому подчиняется все, начиная с бога и кончая диким зверем». Однако, возражал на это Плутарх, если бы люди жили согласно только этому закону, то сильные давно бы уже сожрали слабых. Впрочем, в Элладе со временем и двуногие хищники почти исчезли, а те, кто доживали в нищете в угасающих городах, уже были не в силах не то что отнять чужое, но даже защитить свое. Другие, в частности Сенека, считали причиной общественных противоречий естественное противоборство «людей зла» и «людей добра», которых в силу каких-то законов природы рождается меньше, и поэтому злые обычно побеждают. «Человеком добра нельзя стать быстро, как нельзя быстро распознать его, — писал он в „Письмах к Луцилию“, — потому что истинный человек добра рождается, может быть, раз в пятьсот лет, как Феникс».

Эта идея была близка и Плутарху, который не раз сетовал на то, что благородных и добрых, этого человеческого золота, по словам Платона, становится все меньше. Однако, в отличие от Сенеки, он никогда не терял надежды на возможность борьбы со злом с помощью разума и воли. Плутарх видел в зле проявление разрушительной силы, заложенной в самом мироздании, которая исходит от некоей части первоначальной материи, еще не охваченной Демиургом и не превратившейся в Космос. И как во вселенной идет непрестанная борьба между Космосом и Хаосом, созиданием и разрушением, так и

человеческие души являются полем постоянной войны между добром и злом. И для того чтобы добро если уж не победило, то хотя бы сохранялось равновесие, каждый должен искоренять даже самые крошечные проявления зла в собственном микрокосмосе, чтобы не дать злу разрастись и погубить в конце концов все. Не соглашаясь с Еврипидом, что злой будет только злым, а добрый только добрым, Плутарх не терял веры в то, что это можно исправить воспитанием, и в то же время не мог не признать, что результаты, как правило, бывают далеки от желаемых.

Представляется возможным говорить о том, что, при всем разумном спокойствии Плутарха, его внутренний мир был так же трагически противоречив, как у любого мыслящего человека, которому выпала участь быть свидетелем упадка своего народа. Наделенный от природы глубоким чувством сострадания, даже к старому, волю, годному разве что для живодерни, он не мог не признать, что любить слишком многих из тех, кого он видел вокруг, не за что. Похоже, он даже испытывал затаенный страх перед теми, о которых по старинке продолжал говорить как о согражданах, поскольку они были способны на все от безысходности своего положения. Ничего не чтящая, живущая одним днем чернь погубила, по мнению Плутарха, свободные полисы Эллады, теперь такая же участь была уготована Вечному городу.

Последние столетия римской истории показали, на его взгляд, еще раз, насколько опасно потакать изменным инстинктам толпы, «обращаясь вместо слуха к утробам и кошелькам, задавая пиршества и устраивая раздачи». В «Наставлении государственным мужам» и других сочинениях он постоянно напоминает стремящимся к политике, насколько сомнителен успех, достигнутый «плясками, раздачами и гладиаторскими играми»: «Должно не терять достоинства и не дивиться славе, которую можно завоевать у черни зрелищами и кухней, ибо слава эта недолговечна; конец ей приходит одновременно с играми гладиаторов и театральными подмостками, и ничего почетного и достойного в ней нет». Сам он, с юных лет занимаясь общественной деятельностью, всегда сохранял дистанцию между собой и народом. Греческого демоса времен Марафона или же римского плебса периода борьбы с Карфагеном давно уже не было, и Плутарх, считая самым главным предотвращение анархии, стремился

опираться на еще более или менее здоровые силы, вне зависимости от того, где они ему виделись — в родной Херонее, Афинах или Риме.

Между тем жизнь в Риме, теряя все больше внутренний смысл и человеческие очертания, продвигалась к своему не такому уж отдаленному завершению, и никаким наставлениям Плутарха не дано было в ней что-то изменить, как не смогли хоть немного продлить исторические сроки Эллады грандиозные политические проекты Платона.

Хотя Домициан, как его отец и брат, предпринимал определенные меры для усиления хозяйственной жизни в Италии и сам не был особенным охотником до зрелищ, он тем не менее постоянно устраивал их для народа. Даже ночью, при свете факелов, продолжались многодневные травли зверей и гладиаторские бои, в которых участвовали теперь и женщины. Для морских сражений специально выкопали пруд поблизости от Тибра. Император прибавил два новых цвета, пурпуровый и золотой, к четырем прежним цветам цирковых возниц и даже иногда сам распоряжался на состязаниях, в пурпурной тоге на греческий лад и с золотым венком на голове с изображениями Юпитера, Юноны и Минервы. На празднике Семи холмов он выставил невиданно щедрое угощение, и в то же время, утверждая, что каждый может прокормиться сам, отменил раздачу съестного для бедняков, так что теперь многодетные родители, как писал об этом Плиний Младший, «по большей части бесполезно взывали к глухим ушам принцепса».

Чтобы улучшить положение с продовольствием, император сначала издал эдикт, запрещающий землевладельцам разводить виноградники, поскольку дешевого вина много, а хлеба не хватает, а затем даже приказал вырубить половину виноградников в провинциях. Самой главной угрозой по-прежнему оставались скопления варваров у северных и северо-восточных границ, и император возглавил две экспедиции по усмирению хаттов на Рейне. С трудом удалось приостановить продвигающихся со стороны Истра маркоманов, свевов и квадов во главе с дакийским царем Децебалом, и опять Домициан сам руководил кампанией. Было начато сооружение защитной полосы со стороны германцев — ряда военных укреплений и соединяющих их дорог. Страшно было даже подумать, что когда-нибудь кольцо укреплений не выдержит и неизвестно сколь огромное варварское

море выйдет из берегов и затопит их мир городов, театральных представлений, изысканных вещей и философских трактатов.

Хотя в своих сочинениях Плутарх редко касался этой самой главной опасности, возможно, в силу неистребимого презрения эллина к варварам, он вполне осознавал ее, и это определяет его отношение к империи. В воспоминаниях о вторжении кельтов в Элладу три столетия назад все еще ощущался, как писал об этом Плутарх, ужас, обуявший греков при виде «иноплеменников, которые, словно огонь, лишь тогда полагают конец завоеваниям, когда уничтожат побежденных». До поездки в Италию он только слышал о северных варварах, одетых в звериные шкуры и со звериным же нравом. В Италии их было множество — рабы, вольноотпущенники и наемники, они говорили по латыни, были одеты и причесаны, как все прочие люди. Рядом с привычными значками римских когорт можно было видеть изображения диких зверей, которые германцы обычно хранят в священных рощах и несут перед собой перед битвой. С каждым годом становилось все виднее, что варварство уже не где-то там, на дальних, почти гиперборейских окраинах, а что оно совсем рядом и даже более того — в самом Риме. И если Плутарх и его друзья, не приемля настоящего, с которым они ничего не могли поделать, но в условиях которого пытались жить «как должно», черпали силы в минувшем, то многие из реалистически мыслящих римлян, и прежде всего историк Корнелий Тацит, устремляли свой взор к северным окраинам империи, связывая надежды на будущее с молодыми, полными нерастраченной энергии народами.

В своих записках о Германии Тацит обращается к главной дихотомии каждого общества, к неразрешимому, по-видимому, противоречию между ростом благосостояния и образованности народа — и его физическим и нравственным оскудением, а также к поистине фатальному противоречию между стремлением к свободе — и неумением ею пользоваться. Ко времени Тацита развитие греко-римского мира почти завершилось и усталость, отвращение к жизни подошли к такому рубежу, за которым уже не виделось ничего ужасного в полуголодном существовании северных варваров, обитающих в ямах, поверх которых зимой для тепла наваливают кучи навоза. Не ведая ни о книгах, ни о театре, ни о музыке, германцы вели примитивное хозяйство, выращивая скот и немного хлеба. Они

поклонялись мертвым головам, прибитым гвоздями в нишах каменных столбов, и приносили человеческие жертвы своим жутким богам — чудовищам с тремя лицами на одной голове, или же змее с бычьей головой, или же быку с тремя рогами. Тацит с удивлением пишет о том, что дети у германцев даже в холода ходят голые и при этом отличаются красотой и хорошим здоровьем.

Не зная, что такое атараксия или ацедия, эти лесные варвары со звериной цепкостью отстаивали жизнь и свободу, предпочитая гибель рабству. При этом особенной свирепостью и непримиримостью отличались женщины. И захватывая после длительной осады городища, римляне не раз бывали свидетелями сцен, подобных той, которую описывает в одном из своих сочинений Плутарх: «Женщины в черных одеждах стояли на повозках и убивали беглецов — кто мужа, кто брата, кто отца, потом собственными руками душили маленьких детей, бросали их под колеса или под копыта лошадей и закалывались сами... мужчины, которым не хватало деревьев, привязывали себя за шею к рогам или крупам быков, потом кололи их стрелами и гибли под копытами, влекомые мечущимися животными». Германцы так и не были покорены — ни Цезарем, первым отметившим их неустрашимость, ни последующими императорами, однако, соприкасаясь с соблазнами городской жизни по мере продвижения римлян на север, они все больше добровольно входили в эту жизнь, прежде всего как наемники, изменяя постепенно само римское общество.

Этому способствовали и императоры, связывая с северо-западными землями надежды на оздоровление государства, тем более что некоторые из них начинали свой путь, начальствуя в германских легионах, и пользовались впоследствии их поддержкой. Что же касается Плутарха, то, оставаясь, по крайней мере, в самом главном эллином прошлых времен, он никогда бы не мог взглянуть как на благо на первозданную дикость северных народов. Что ему было до их нерастраченной силы, если подступившая к самым границам империи варварская лавина грозила вот-вот накрыть весь его осиянный предзакатным свечением мир, которому было не повториться.

Ощущение нарастающей опасности, горькое чувство бессилия при виде их распадающегося мира было присуще многим образованным людям этого времени. Уходил навсегда сам античный

человек; одни уходили сломленные и отчаявшиеся, другие — еще пытались отстаивать, яростно и страстно, представлявшийся им единственно правильным порядок вещей. Как пытались пятьсот лет назад продлить сроки полисного мира Эсхил и Аристофан, как стремился Эпикур, уже в эпоху краха, сохранить хотя бы сам тип эллинской личности, как теперь Дион Христом (Златоуст) все еще призывал воспрянуть духом перечеркнутых историей соплеменников. Человек неумный и страстный, Дион объявил настоящую войну всем подрывающим «старинное благозаконие», как если бы оно еще существовало. Отвергнув философию как бесполезнейшую из наук и полностью отдав себя риторике, он выступал с пламенными обличительными речами при больших скоплениях народа, особую известность получило его выступление в Олимпии. Так же как в свое время поэт Аристофан или Фокион, известный афинский политик эпохи македонского завоевания, Дион видел основной источник «нравственной порчи» в праздной жизни в городах, в отходе людей от земли, в тяготении к деньгам и вещам. В одном из своих сочинений он создал образ идеального мужа, живущего в Элладе, еще не знающей городов и власти золота. Так же как Плутарху, ему хотелось бы вернуть невозвратимое, он продолжал призывать греков, не жалея убийственных слов, опять обратиться к крестьянскому труду и установлениям предков, и в своем яростном гневе был столь же утопичен, как и Плутарх в его терпеливых наставлениях.

Потомок старинного разорившегося рода, Дион перебрался, как большинство одаренных провинциалов, из Вифинии в Рим, видя в империи единственную силу, которая еще в состоянии сохранить их общий мир. Оказавшись в самой гуще не только литературной, но и политической жизни, Христом порицал оппозицию стоиков, надеясь на соединение власти и мудрости как на действенное средство оздоровления общества. Как надеялся когда-то Платон убедить сиракузского тирана воплотить в реальность его политический проект, изложенный в «Законах» и «Государстве», и потерпел на этом пути сокрушительное поражение, так и Дион был вынужден покинуть Италию, когда Домициан приказал очистить Рим от всех философствующих, не затрудняя себя различиями между ними. Судьба Диона, изгнанного Эпиктета, а также некоторых римских приверженцев стоицизма, поплатившихся за свои убеждения жизнью,

еще раз подтверждала изначальную обреченность открытого вызова и правоту жизненной позиции Плутарха — исправлять, что можно, повседневным трудом, в той исторической данности, в условиях которой ему выпало жить. Тем более что бросать вызов, в сущности, было некому — это было все равно что в слепой ярости броситься изнутри самой крепости на штурм крепостной стены, за которой только и ждал своего часа их общий конец.

Вероятнее всего, Плутарху не раз приходилось видеть и слышать неистового Христостома, но он об этом не пишет, потому что для верного последователя Платона нападающий на философию вифинец был, скорее всего, лишь одним из тех софистов, которые низвели до уличного зрелища священное некогда ораторское искусство. И хотя оба они взывали к одним и тем же ценностям, их не могла не разделять пропасть непреодолимой неприязни. Ибо в жизни Дион был именно таким, каким не хотел быть Плутарх, хотя также надеялся хоть как-то воздействовать на течение жизни. В своих сочинениях и беседах он давал свои ответы на главные вопросы времени, стараясь не думать о том, будет ли от этого польза, которой было не слишком-то много и от беспощадных обличений Христостома.

В то время как была свежа еще память о бесчинствах в Италии наемников Вителлия, когда, как писал об этом Тацит, ни положение, ни возраст не могли оградить от насилия, спасти от смерти и разноплеменная солдатня грабила храмы и рвала на части красивых девушек, Плутарх пишет трактаты о доблестях воинской службы и долге перед отечеством. Как всегда, он приводит примеры из славного прошлого, когда у военачальников в мыслях не было заискивать перед солдатами и все «войско было подобно могучему телу, которое собственных побуждений не знает и движимо лишь волею полководца». Он дает целый ряд советов тем, кто решил испытать себя на воинском поприще, пространно рассуждает о том, что «воины восхищаются больше всего не теми, что раздают почести и деньги, а теми, кто делит с ними труды и опасности, и любят не тех, кто позволяет им бездельничать, а тех, кто по своей воле трудится вместе с ними». И спокойные эти рассуждения кажутся в чем-то непонятными в обстановке нарастающего страха перед солдатней, все больше превращающейся в самодовлеющую силу, страха, который проглядывает даже у Тацита.

Те, кто отдавали собственные города на разграбление варварам под знаками римских легионов, не читали трактатов Плутарха, не знали о самом его существовании. В то же время в последние столетия своего угасающего могущества империя все-таки выдвинула несколько здравомыслящих правителей и способных военачальников, пекущихся о судьбе государства, и одним из таких был Траян, посещавший как будто бы лекции Плутарха.

Хотя их общий мир казался еще достаточно крепким, нарастающее предчувствие конца отодвигало в глубь истории былые обиды, те страдания потерпевших поражение, от которых призывал замкнуться в абсолютном бесстрастии Эпикур. И для Плутарха было самым главным сохранить хотя бы то, что есть, не допустить новой внутренней смуты в империи, потому что какая-то из этих самоубийственных распрей, как это было в Элладе, может оказаться последней. «Пожар редко начинается с храма или общественной постройки, — пишет он в „Наставлении о государственных делах“, — но светильник, позабытый в доме, или домашний мусор, занявшийся огоньком, не раз были причиной великого пламени и общественного бедствия; так и смуту в городе не всегда разжигают честолюбивые препирательства из-за общественных дел, но зачастую от личных столкновений происходит раздор, который перекидывается на общественную жизнь и возмущает весь народ». И здесь он рассуждает как настоящий грек, для которого все причины и следствия, все взаимосвязи рождаются и остаются внутри замкнутого, как некий сфейрос, греческого, а теперь грекоримского мира, а внешних сил, иных миров как будто бы не существует, как нет и общего потока времени, с его одинаковыми для всего сущего законами. Как на сцене обветшалого театра, он убеждает ни чего не трогать и продолжать играть затверженные роли, как будто вокруг ничего не происходит, в то время как прямо из амфитеатра к оркестре уже уверенно пробираются другие протагонисты.

Возможно, что рационально необъяснимое убеждение Плутарха и том, что у них еще есть будущее, проистекало из его глубокой религиозности, непоколебимой веры в бесконечно долгую жизнь души и, может быть, даже ее новое воплощение, по сравнению с чем казалось несущественным столь далекое от совершенства теперешнее земное бытие. Возможно, этим же объяснялось и его неизменное

спокойствие. Как будто бы перелистывалась, страница за страницей, огромная книга, в которой не было конца. Именно этот второй план его жизни придавал особое измерение его лекциям, которые привлекали все большее внимание римской образованной публики. В Плутархе начинают видеть не только знатока философии, но и мудреца вроде тех, о которых он пишет в «Пире семи мудрецов», обращаются к нему за советами в житейских вопросах и даже как своего рода третейскому судье.

Он учит, как жить, когда, казалось, жить просто невозможно, как стать выше тех обстоятельств, которые оказались не в силах преодолеть многие философствующие римляне; вероятно, им не хватило веры или же ее не было вообще. Он стремится помочь людям, как четыреста лет назад Эпикур, к которому Плутарх был особенно непримирим, понимая эту помощь совершенно иначе. В отличие от эпикурейцев, скептиков и киников, у которых жестокая бессмысленность жизни порождала или мрачное отчаяние, или же грубый гедонизм, он стремился, подобно Платону, вселить в своих слушателей спасительную веру в конечную гармонию жизни, приобщить их к тому любованию миром, в состоянии которого он пребывал сам. Убежденный в превосходстве бессмертного духовного начала над временным телесным, Плутарх считал особенно опасным материализм Эпикура, начиная с его главного положения — об атомистическом строении вселенной и пребывающих в неких междумириях богах, и всю жизнь вел с ним язвительную полемику. Через все его писания проходят многочисленные реплики, замечания, возражения давно уже не существующему Садослову, значимости которого он, впрочем, не мог не признавать. Особенно неприемлемым был для Плутарха, о чем он пишет в сочинениях «Против Колота» и «Хорошо ли сказано: живи незаметно?» краеугольный тезис эпикуровой этики — жить незаметно, прежде всего для себя самого: «тот, кто ввергает самого себя в безвестность, кто закутывается в темноту и хоронит себя заживо — похоже, досадует на то, что родился, и отрекается от бытия».

Убежденный в том, что для полноценного и образованного человека даже в самые неблагоприятные времена найдется общественнополезное дело, что надо пытаться воздействовать на обстоятельства, а не прятаться от них, Плутарх порицал неучастие в

общественных делах также и стоиков. «В то время как у самого Зенона, у Клеанта, у Хрисиппа, — пишет он в трактате „О противоречиях у стоиков“, — столько написано о государственном устройстве, о том, как следует повиноваться и приказывать, творить суд и произносить речи, в их жизнеописаниях ты не встретишь упоминания о том, чтобы кто-нибудь из них исполнял должность стратега, выносил законы, ходил в совет... сражался за отечество... вместо этого они проводили жизнь на чужбине, вкусив, словно некоего лотоса, покоя среди книг, бесед и прогулок». Для Плутарха было неприемлемым присущее стоикам изначальное разграничение людей на мудрых и немудрых, добродетельных и порочных, в силу чего становится бессмысленным самосовершенствование. В трактате «О том, как человеку стать осознающим свои успехи в добродетели», посвященном Сосию Сенециону, он обстоятельно доказывает несостоятельность исходной посылки стоиков — о том, «что мудрость и сопутствующая ей добродетель есть некое внезапное приобретение, без какого-либо предварительного обучения», и что если человек несовершенен, то какое имеет значение, станет ли его несовершенство несколько меньше в результате стремления к добродетели. Плутарх же, напротив, возлагая последние надежды на действенную силу нравственности, стремился убедить своих слушателей в том, что человек является хозяином своей судьбы. Он считал своим долгом подбадривать слушателей и учеников, укреплять их веру в свои возможности, стремясь найти в каждом что-то, на что можно опереться, в отличие от грозных моралистов, вроде Эпиктета, встречавшего своих слушателей такими вот словами: «Да, милейшие, школа философа — это та же лечебница, и должно, чтобы вы ее покинули не в веселом настроении, а с ощущением боли».

Свой главный совет — жить активной общественной жизнью — Плутарх продолжал подкреплять собственным примером, все больше видя цель своей разносторонней деятельности в служении не только родному городу, не только провинции Ахайя, но и всей империи. Для него было очевидно, что любое противодействие высшей власти бессмысленно и вредно, так как только поддерживая общими усилиями достаточно условное внутреннее согласие они могли надеяться хоть как-то продлить свое существование в кольце подступающего варварства. Демократические иллюзии греками были

давно изжиты, а произвол императоров в провинции виделся несколько иначе, чем в Риме. И самое главное: обличавшие деспотизм Домициана стоики упрямо продолжали взывать к тому, чего было уже никогда не вернуть.

Сто пятьдесят лет назад Марк Туллий Цицерон, также непримиримый противник атараксии эпикурейцев, писал о многоступенчатых обязанностях человека, желающего «жить как должно». К этим же самым обязанностям — перед семьей, перед городом, перед государством — постоянно обращался и Плутарх, не приемлющий ни при каких обстоятельствах ни отчаяния, ни самоустранения, даже если бы это выглядело, как писал об этом Сенека, достойным уходом, а не паническим бегством. Жизнь — вообще испытание, говорил он своим ученикам, и редкие радости, счастливые мгновения в ней — как золотые крупинки. Ведь еще Гомер писал о том, что хорошо прожившим можно считать того, кому довелось узнать не только худшие, но и лучшие дни. Великим афинским трагикам жизнь виделась постоянной борьбой доблести со случаем, воли и разума — с неумолимой жестокостью судьбы, которая «никогда не раздает людям безвозмездно свои великие дары». Понимая удел человека как нравственный подвиг, Плутарх продолжал взывать к доблести как решающему из человеческих качеств, которая сильнее страданий, случайностей и даже самой судьбы: «пока доблесть старается оградить себя от бедствий, судьба нередко одерживает над нею верх, но отнять у доблести силу разумно переносить свое поражение она не может».

С нарастающим отчуждением в обществе Плутарх предлагает бороться посредством таких идущих с давних пор обычаев, как взаимопомощь, странноприимство, совместные занятия философией, вечерние собрания друзей и соседей, на которых важны не столько вино и музыка, сколько обмен мыслями и взаимопонимание. Он все еще надеялся выстроить спасительную крепость сознательного человеколюбия, хотя и у него возникали порой сомнения на этот счет: «Ты знаешь, — обращается он к одному из друзей, — как я по своему нраву склонен придерживаться доброго мнения о людях и доверять им. И вот чем более я опираюсь на дружеские чувства людей, тем более грубые ошибки приходится мне совершать, подобно человеку, оступившемуся над ямой, и тем болезненнее бывает мое падение.

Искоренить все чрезмерное в своей душевной склонности к дружеской любви мне, вероятно, уже поздно; но в излишнем доверии к людям я, пожалуй, могу воспользоваться, как уздой, примером благоразумной осмотрительности Платона... который даже похвальные отзывы сопровождал оговоркой, „что речь идет только о человеке, то есть существе по природе переменчивом“».

Разбросанные по его сочинениям реплики и замечания позволяют предполагать, что у Плутарха было немало поводов для разочарования даже в хорошо знакомых людях, а большинство его современников вообще вряд ли могли рассчитывать на уважение, и все равно он продолжал надеяться, что в людях хорошего больше, чем плохого. Как и в большинстве других вопросов, позиция Плутарха двойственна и противоречива. С одной стороны, он выводит в своих сочинениях целый спектр не самых привлекательных человеческих качеств. А с другой — опровергает Софокла, утверждавшего, что «вглядевшись в смертных, низость в них найдешь всегда», приводя примеры целого ряда людей, у которых небольшие недостатки отступали перед несомненными достоинствами. Плутарх и себя не считал свободным от недостатков, постоянно работая над их преодолением и полагая это наиглавнейшей задачей каждого: «А кто направит свое внимание от внешнего мира на самого себя, повторяя вслед за Платоном „А не таков ли и я?“ и присоединяя к упрекам, направленным против других, собственную осмотрительность, тот не будет придиричиво требовательным, видя, что сам нуждается в большом снисхождении».

Человек осеннего, предзакатного времени, усвоивший из множества прочитанного, как часто во имя, казалось бы, справедливых дел совершались непоправимые ошибки, Плутарх был далек от сурового ригоризма Эхила или же безжалостной язвительности Аристофана и, следуя Сократу, считал, что надо пытаться понять каждого — и так будет спокойней для себя самого: «Мой опыт подтвердил, при божьей помощи, что такая снисходительность, кротость и дружелюбие никому из окружающих не приносят такого удовлетворения и радости, как самим обладателям этих качеств». И посещающим его занятия в Риме он советовал быть человечными по отношению ко всем — к согражданам, соседям, домочадцам и даже рабам, считая, что «самое постыдное — господину показать себя менее справедливым, чем раб».

«Разум более, чем гнев, пригоден для управления людьми, — пишет Плутарх в трактате „О подавлении гнева“, — ибо неправильно сказал поэт: „где страх, там и совесть“; наоборот, совесть порождает боязнь нарушить благочестие...» В доказательство он приводит ряд примеров взаимной доброжелательности и справедливости, а также того порой непоправимого ущерба, который наносит обществу «врожденное честолюбие и стремление господствовать». Рассуждения Плутарха на эту тему так же противоречивы, как его взгляды на большинство других вопросов. Казалось бы, вся история греков и его собственный опыт свидетельствовали о том, что по какой-то неизвестной причине низость обычно побеждает благородство и что худшие, наверное, от сотворения мира продолжают искоренять лучших, так что таких уже почти не осталось. Но он все равно продолжает давать пространные советы, как бороться со злом и подлостью добром и великодушием, убежденный (или же стараясь себя убедить) в том, что в конечном итоге низость будет посрамлена, а великодушие восторжествует. Главным для него было — противостоять смертельной для каждого общества разобщенности, и во имя этого он считал оправданными любые компромиссы.

«Старинное наставление называет три вещи, которых надо избегать: это ненависть, зависть и презрение», — писал в одном из своих писем Сенека, это же мог бы написать и Плутарх. Считая, что для живущих рядом людей нет ничего хуже, чем уподобиться крутящимся каждый сам по себе эпикуровым атомам (этот образ особенно привлекал Плутарха), он пытался возродить у окружающих, и прежде всего соплеменников, былое ощущение братства и чувство сострадания к тем, кому не повезло. Неоднократно обманутый в своей доверии, он все равно призывает к терпимости и доброте, убежденный в том, что главное оружие, которым следует бороться с людским несовершенством, — это любовь: «Мы приучаем и укрощаем диких зверей, носим на руках волчат и львят, а вместе с тем грубо отталкиваем от себя детей, друзей и близких, обрушиваем, как звери, наш гнев на рабов и сограждан, прикрывая это громким названием „отвращения к порокам“, подобно тому, как не можем избавиться и от других болезненных состояний души, называя их одно — „предусмотрительностью“, другое — „щедростью“, третье — „благочестием“».

Даже в самых древних богах, какими, по его мнению, были Афродита и Дионис, Плутарх выделяет прежде всего объединяющее начало: «Дионис, своим огненным вином смиряя и умягчая наше сердце, полагает в нем начало приязни и сближения с многими, прежде нам не близкими и даже не знакомыми». Он вспоминает старинные общенародные празднества, которые скрепляли народ в единое целое, способствовали «взаимовлечению, доброжелательности, обходительности и свычности», укрепляли то ощущение родства, которое сильнее неизбежных обид и разногласий. Всенародные эти торжества навсегда остались в прошлом, но Плутарх продолжал надеяться на целительную силу искусства, особенно музыки, словно жил в совершенно другие времена, чем Сенека, Петроний, Марциал и их отвратительные персонажи...

Возможно, что именно в Риме у Плутарха рождается замысел цикла из восьми биографий римских императоров, начиная с Августа и кончая Вителлием, из которых до наших дней сохранились только жизнеописания Гальбы и Отона. Очень может быть также, что к этой работе его побуждали римские друзья, поскольку вообще-то он неохотно писал о делах недавнего прошлого. Продолжая изучать историю Рима главным образом по сочинениям греков, он был намерен по возвращении домой всерьез засесть за латинский, для чего пока у него не было достаточно времени: «Когда бывал я в Риме и других местах Италии, — вспоминал он впоследствии, — то государственные дела и ученики, приходившие ко мне заниматься философией, не оставляли мне досуга, чтобы упражняться в языке римлян, и потому слишком поздно, уже на склоне лет, я начал читать римские книги. И — удивительное дело, но это правда — со мной случилось вот что: не столько из слов приходилось мне узнавать их содержание, сколько наоборот, по содержанию, о котором так или иначе я имел уже некоторое представление, улавливать значение самих слов. Конечно, прочувствовать красоту римского слога, его сжатость, обилие метафор и стройность — словом, все, чем украшается речь, — мне кажется делом интересным и не лишенным приятности, но оно требует нелегкого труда и упорных занятий и под силу лишь тем, у кого больше свободного времени и чьи года еще не препятствуют такого рода стремлениям».

Понемногу для Плутарха начинают проясняться закономерности римской истории, которые в чем-то напоминали судьбу греческих полисов, а в чем-то являли вещи, ему доселе не знакомые. И все очевиднее для него делалось самое главное: после почти семисот лет побед и великих свершений, по мере упадка и вырождения римлян усиливалось замещение их пришлыми людьми, сначала из Италии, Галлии и Испании, а затем — из самых разных краев и уголков разрастающейся империи. Но если греческие полисы были покорены извне, то в Риме замена людей, обычаев и со временем даже богов происходила как бы исподволь. И как блистательные Афины непомерными притязаниями подточили свою былую силу, так и римляне, подчиняя себе все новые народы, постепенно растворялись в их множестве, чтобы, достигнув наивысшего могущества, вскоре исчезнуть навсегда. И мысль о неотвратимости открытой Гераклитом диалектики, которую обычные люди называют круговоротом судьбы, все чаще приходила к Плутарху во время работы над римской историей, как в свое время над греческой.

И так же, как в Элладе, грядущее поражение Рима было предопределено, по мнению Плутарха, уже тогда, когда его граждане утратили уважение к законам и умение повиноваться, повиноваться обычаям, военачальникам, родителям. К этой теме он не раз возвращается в жизнеописаниях римских императоров. «Платон полагал, — пишет он в биографии Гальбы, — что искусство повиноваться подобно искусству царствовать и что оба нуждаются как в хороших природных задатках, так равно и в философском воспитании, которое прививает кротость и человеколюбие и тем особенно умеряет дерзость и вспыльчивость». Предпосылки к ослаблению римского государства, считал Плутарх, были заложены уже в последние десятилетия Римской республики, когда политики и военачальники начали оспаривать друг у друга власть, опираясь на своих легионеров, которым за это позволялось все. Спустя несколько десятилетий такими же дозволенными и недозволенными способами удерживали верность своих преторианцев недолговечные императоры, такие как незадачливый Отон или же суровый Гальба. Такое же положение дел, по существу, сохранялось и при Флавиях, и трудно было надеяться на то, что найдется все-таки действительно большой человек, который сумеет подчинить своей воле противоречащие друг

другу устремления и силы. И все же хотелось верить, в том числе и Плутарху, покидающему Рим с твердым осознанием общей судьбы всего греко-римского мира, в то, что спаситель все-таки придет, настоящий хозяин осаждаемого многими опасностями государства, истоки которого были несомненно божественными, иначе, в чем был уверен херонейский мудрец, оно «никогда не достигло бы нынешней своей мощи».

Глава 6. Сравнительные биографии

Поскольку поток времени бесконечен, а судьба изменчива, не приходится, пожалуй, удивляться тому, что часто происходят сходные между собой события.

Плутарх

Шли годы, приближая Плутарха к осуществлению его главного предназначения — написанию, нескольким книгам биографий выдающихся греков и римлян, созданию огромного труда, в котором запечатлелся весь путь свободной Эллады и республиканского Рима и который остался на века памятником и самому Плутарху, и его неповторимому миру. Спокойной глубокой рекой текла его жизнь по обозначившемуся с юности руслу, устремляясь к неизмеримому океану мудрости и красоты. И рассказывать о жизни Плутарха, ничем особенно внешне не примечательной, — это значит так же спокойно повествовать о размеренном, может быть, на чей-то взгляд монотонном бытии писателя и мудреца, пытающегося постигнуть законы человеческого существования и донести их до своих учеников и читателей. Рассказывать о жизни Плутарха — это значит прикоснуться к творимому им многоцветному миру, который пребудет навсегда, подобно демокритовым эйдосам, нетленным слепком великой цивилизации.

«Неужели я, по-вашему, мог бы прожить столько лет, — говорит Сократ в одном из платоновских диалогов, — если бы занимался общественными делами, и притом так, как подобает порядочному человеку, — спешил бы на помощь правым и считал бы это самым важным, как оно и следует?» При всем преклонении перед Сократом, Плутарх никогда бы не смог с ним согласиться в этом вопросе, считая первейшим делом каждого заботу о делах родного города. Он не раз обращается к этой теме в своих сочинениях, в частности, в трактате «О том, следует ли философу заниматься государственными делами», порицая «тех философов, что многими увещеваниями призывают к делу, но не учат и не разъясняют, как за него взяться». В отличие от

Эпикура или же киника Диогена, Плутарх никогда бы не смог стать бесстрастным созерцателем того, как прямо на глазах рушится окончательно прежняя эллинская жизнь. И он продолжал упрямо заделывать трещины, следить за чистотой, покупать черепицу и известь, не чураясь самой незначительной работы.

Послужив родной Херонее на самых различных должностях, к сорока годам Плутарх был избран архонтом-эпонимом, в ведении которого находилась вся городская жизнь. Надзирая за строительством и проведением праздников, помогая сиротам и немощным, улаживая дела с римским начальством, он во всем стремился к тому, что бы не «извратить и переиначить лучшее и наиболее полезное», доставшееся от прошлого. Может быть, ему хотелось видеть в себе того «преданного философии мужа на площади, среди государственных трудов и гражданских споров», которых уже не было среди его соотечественников. В «Наставлении о государственных делах» он называет среди главных качеств, необходимых тем, кто решил посвятить себя «заботе об общем благе», «кротость, справедливость и способность переносить ошибочные суждения народа и товарищей по должности». В их теперешних обстоятельствах главный смысл общественной деятельности ему виделся в том, чтобы крепить единение граждан, опираясь на лучшее в людях, добротой и терпением исправляя недостатки. Подобно римскому полководцу Фабию Максиму, человеку «золотого века нравственности», Плутарх также «считал нелепым, что, в то время как всадники и охотники смиряют в животных норы и злобу больше заботою, лаской и кормом, чем плеткой и ошейником, те, что облечен властью над людьми, редко стараются их исправить посредством благородной снисходительности, но обходятся с подчиненными круче, нежели земледельцы с дикими смоковницами, грузами и маслинами, когда превращают эти деревья в садовые, облагораживая их породы».

В свое время Платон внушал ученикам, что каждому из смертных следует как можно дольше и лучше играть предназначенную ему на этой земле роль. Об этом же напоминает и Плутарх стремящимся к общественной деятельности — о том, что им «предстоит жить, словно в театре, на глазах у зрителей». Пора больших государственных Дел для греков навсегда миновала, о чем также напоминает Плутарх, и чем бы ты ни занимался, ни на минуту не забывай о нависшем над твоей

шеей римском сапоге. Ушло то время, когда демагоги призывали друг друга к ораторской трибуне словно на «золотую жатву» — теперь было нечем поживиться в обезлюдивших городах, уменьшившихся до размеров акрополей. И напротив, тем, кто хотел что-то значить в этих городишках, самим приходилось раскошелиться. Но еще оставались всякого рода звания, упоминания в почетных декретах, статуи из мрамора и бронзы, которые теперь ставили уже при жизни, — и за все это среди честолюбивых провинциалов разворачивалась такая борьба, как будто речь шла по крайней мере о консульстве. «Подобные почести, — пишет в связи с этим Плутарх, — накликают зависть, и притом в отношении тех, кто еще не получил их, толпа испытывает благодарное чувство, но теми, кто получил, тяготится, словно ожидая от них плату за услугу». Только действительно пекущийся об общем благе человек удостоивается искренней благодарности народа, который и на самом дне своего поражения продолжает чутко улавливать фальшь и смеется над недостойными, даже если вынужден терпеть их над собой.

Как и во многом другом, Плутарх словно бы не видит того, что творится вокруг, и продолжает наставлять своих молодых друзей, подумывающих об общественной деятельности, так, словно их запустевшую Ахайю ожидает вот-вот чудесное возрождение: «Надо помнить, что состязание государственной жизни — не такое, какое ведется из-за денег или даров, но это воистину священные игры, где наградой бывает простой венок, где победителю достаточно какой-нибудь надписи или таблички, почетного постановления или той масличной ветки с акрополя, которую получил Эпименид в награду за очищение Акрополя». Действительность то и дело вторгалась в его во многом умозрительный мир, пространные рассуждения повисали в воздухе, но Плутарх старался не принимать этого всерьез и продолжал идти своим путем.

Спустя два года после его возвращения из Рима пришло известие о том, что по указу императора казнен Рустик, один из римских слушателей Плутарха, издавший похвальное слово опальным стоикам Фрасее Пету и Гельвидию Приску, где назвал их мужами непорочной честности. Одновременно из Рима были изгнаны все философы, в том числе Христостом и Эпиктет, а также несколько сенаторов, осмелившихся напомнить об ответственности правителя перед

Мировым нравственным законом. Было казнено также несколько человек, подозреваемых в приверженности к восточным религиям, а затем Домициан, не считая нужным больше сдерживаться, начал изгонять и обрекать на смерть по любому поводу. Как писал об это впоследствии Светоний, «Гермогена Тарсийского за некоторые намеки в его „Истории“ он тоже убил, а писцов, которые ее переписывали, велел распять». Несколько сенаторов были казнены по обвинению в подготовке мятежа, другие были убиты под самыми пустяковыми предложениями. Так, один из этих несчастных был умерщвлен за то, что назвал своего раба Ганнибалом. Императорский гнев докатился и до провинции: жестоко было подавлено возмущение родосцев, недовольных произволом римской администрации, к тому же известных своей приверженностью к философии.

Для Плутарха все это служило еще одним подтверждением обреченности любого неповиновения властям и иллюзорности восстановления хотя бы части гражданских свобод. Это только подтверждало правильность его собственной позиции: делать то, что в его силах, способствуя улучшению того мира, в котором им выпало жить, потому что другого не было. К этому времени у него была своя философская школа в Херонее, его «маленькая Академия», и он надеялся, что воспитанные им ученики продолжат его дело — сохранять и поддерживать то, что еще оставалось от Эллады.

Стремясь открыть ученикам мир невидимого и постижимого лишь разумом, научить их не только понимать заветы великих философов прошлого, но главное — жить согласно эти заветам, Плутарх пишет несколько специальных сочинений, своего рода указаний к чтению и изучению. Так, в указании «О том, как следует слушать лекции», посвященном некому Никандру, он дает пространные советы относительно того, как приступать к серьезным занятиям философией, как следует изучать этот предмет. Характерные образы схолиархов и учеников из этого сочинения как бы продолжают психологические портреты Феофраста.

Прежде всего Плутарх проводит принципиальное различие между настоящими учителями философии и софистами. Это различие давно уже стерлось для его современников, привыкших приобщаться к расхожей, поверхностной мудрости не в философских школах, а на площадях, где заезжие краснобаи развлекали провинциалов радужным

пустоцветьем искусственных словосплетений. Философ обращается к душе человека, объяснял своим слушателям Плутарх, стремясь подвигнуть его к добродетели и тем самым помочь выжить, а софист, сам ничего не имея за душой, лишь вносит сумятицу в умы своих слушателей. Он советует Никандру (один из его учеников, а может быть, всего лишь обобщенный образ его слушателей и последователей) прежде всего сохранять чистоту помыслов, помня о том, что «следовать велениям божества и подчиняться голосу рассудка — это одно и то же». Философия у Плутарха — это прежде всего этика, и он учит молодых людей, как им следует поступать при тех или иных обстоятельствах. И прежде всего он советует им быть внимательными, скромными и терпеливыми, поскольку «молчание во всех случаях является надежным украшением молодого человека, но особенно, когда он слушает другого». «Как пришедший на званый обед, — прибегает Плутарх, как обычно, к простому житейскому сравнению, — должен есть, что ему подают, не разбирая придирчиво вслух каждое блюдо, так и допущенный к пиршеству мысли должен в молчании внимать говорящему, как бы это ни казалось ему новым и странным». Плутарх учит, как задавать вопросы и сносить без обид замечания схолиарха, как посредством упорного труда достигнуть, наконец, такого состояния, когда знание философии начинает приносить ни с чем не сравнимые по полезности плоды.

Плутарх всю жизнь стремился следовать главному завету великих мудрецов — держаться подальше от земного Олимпа, от переменчивых в своих симпатиях властителей, и это позволило ему сохранять в какой-то мере свободу суждений и ничем, в сущности, не объяснимую убежденность в конечном торжестве добродетели. В отличие от Сенеки, у которого служение добру — это трагический подвиг индивидуума, находящегося в конфликте чуть ли не со всем белым светом, у Плутарха стремление жить в мире со всеми — основное средство усовершенствования жизни и самой человеческой природы. Для него добродетель — не собственная правота, торжествующая над неправотой других, но неиссякаемый источник всего благого, черпать из которого может каждый: «В благах, посылаемых судьбою, нам приятно приобретение и пользование, а в благах, исходящих от добродетели, нам приятны действия. Первые мы хотим получать от других, вторые предпочитаем сами уделять

другим». Возможно, в присущей ему самодостаточности сказывался опыт многих поколений его предков на родной земле Беотии, где отшумела славная жизнь стольких племен и народов. Пусть прежнее величие Эллады отошло навсегда, но ведь они, греки, еще были живы, их было не так уж мало, у них оставалось бессмертное наследие предков, и потому надо было жить и жить так, чтобы быть достойными прошлого.

В своих многочисленных «Моралиа» — сочинениях на темы этики и нравственности — Плутарх стремится поддерживать веру в благой результат справедливых поступков и добрых деяний. В поисках примеров он обращается к различным жизненным ситуациям, анализирует наиболее характерные из человеческих качеств, ставя своей целью убедить учеников в возможности самосовершенствования. Он стремился, что было самым главным при тогдашних обстоятельствах, воспитать у них твердую веру в возможности человеческой воли и разума, в то, что «превратности судьбы не несут в себе сокрушающего удара для жизни».

В свое время Платон советовал не развивать ни души без тела, ни тела без души, но стараться, чтобы обе эти стороны, как бы состязаясь друг с другом, находились в постоянном равновесии. Что же касается Плутарха, то он считал воспитание души значительно более важным, чем закалку тела, потому что теперь рассчитывать приходилось прежде всего на несокрушимую крепость собственной души. Навсегда отказавшись от надежд оздоровить нравственно общество посредством каких-то политических нововведений или же строжайших законов (вроде тех, что предлагал Платон), Плутарх убеждал дорожить добродетелью ради нее самой, как единственно надежным фундаментом собственной жизни. В трактате «О суеверии» он приводит две строки из старинной трагедии:

О добродетель жалкая! Напрасно я
Тебе служил так ревностно

и тут же опровергает их следующим образом: «Такие суждения достойны сожаления и негодования, потому что стоит им запасть в душу, как она начинает кишеть, словно личинками и червяками,

болезнями и страданиями». Он стремится убедить своих учеников, что главное в конечном счете — это тот нравственный закон, который, как частица Мировой справедливости, содержится в каждой душе. Тот самый, не людьми данный закон, в непреложности которого был убежден Софокл, один из самых светлых поэтических гениев Эллады. Однако и в этом вопросе, как и во многом другом, Плутарх противоречит сам себе. Так, он восхищается суровой доблестью спартанцев времен ликургова благозакония, несмотря на то что многое у них не укладывалось в его моральные каноны, и прежде всего — их жестокость в отношении к более слабым. Затем, из его же собственных сочинений видно, что ни нравственные запреты, ни прославленная доблесть спартанцев не смогли устоять перед победным шествием золота, когда это сделалось дозволенным, и не спасли Лакедемон, как и другие греческие полисы, от внутреннего разложения.

Обстоятельно, прибегая к многочисленным примерам, Плутарх разбирает в своих «Моралиа» людские пороки (которых всегда почему-то оказывается больше) и те положительные качества, из совокупности которых слагается добродетель. Все это было призвано подтвердить те этические постулаты, которые он надеялся запечатлеть навсегда в еще мягких, как воск, юных душах: жить так, чтобы не только не делать зла, но постараться ни в чем не ущемлять интересов других, «достичь самодовления и безнуждности в совершенной праведности». И главное — всегда помнить о том, что «существует, вероятно, некое божество, удел которого — умерять чрезмерное счастье и так смешивать жребии человеческой жизни, чтобы ни одна не осталась совершенно непричастной бедствиям». Иначе говоря, научиться жить так, чтобы быть готовым к любому повороту судьбы — единственно возможная философия предзакатного времени.

Он внушал ученикам, что Правда — едина, и нельзя оправдывать неблагоприятные поступки зависимостью от обстоятельств, тем, «что приходится, мол, нарушать правду в малом, если хочешь соблюсти ее в большом».

Обучая «науке жизни человеческой», Плутарх напоминает о наказаниях, ожидающих нечестивых и преступных, о самом страшном из которых так писал Платон: после смерти злодеи попадают в Эреб, находящийся внутри земли, где в вечном мраке текут черные реки, они погружаются в этот мрак навсегда, и больше о них никто не

вспоминает. Поступающие незаконно и одержимые пороками, вторил Платону Плутарх, не нуждаются ни в каком мстителе, будь то бог или человек, ибо их собственная жизнь, безвозвратно испорченная и тягостная для них самих, — уже достаточное наказание. Он пытается помочь, видя в этом свой главный долг, молодым соплеменникам, последним отпрыскам на засыхающих тысячелетних корнях, сохранить чистоту деяний и помыслов, направляя их ум «на такие предметы созерцания, которые, радуя его, влекут его к добру, ему свойственному», и в то же время отвращая их от дурного «откровенными, больно жалящими словами».

Плутарху было уже около пятидесяти лет, когда он приступает к своему главному труду — «Сравнительным жизнеописаниям». Историческая биография давно уже стала одним из его главных жанров: биографии Геракла и других мифических героев, восьми римских цезарей и персидского царя Артаксеркса. Перечнем кратких биографий были, по существу, его рассказы о спартамцах и римлянах прошлых времен. И всегда ему хотелось чего-то большего, чем только просветить, хотелось выяснить, определить самое главное в прожитой истории, разглядеть за переплетением событий и эпизодов те законы, возможно, неотменимые, общественной и государственной жизни, которые уже были подмечены Полибием и становились все более очевидными для самого Плутарха.

История для него слагалась в основном из свершений, побед и поражений великих людей — царей, полководцев, законодателей и политических деятелей, характер и нравственные качества которых нередко оказывались решающими для хода событий. Сам тип выдающихся людей зависел от того, в какую эпоху им выпало родиться: на туманной заре государственности, в «золотой век нравственности» или же в тягостные времена упадка. И вся эта сложная, трагическая в своих противоречиях, навсегда отшумевшая жизнь, которую Плутарх будет воссоздавать век за веком в своем величественном, как фидиевы творения, сочинении, предстает у него в конечном счете как одно из проявлений вечной жизни Вселенной, дыханием которой пронизаны размышления бессмертных мудрецов Эллады. «Действительно, если количество основных частиц мироздания неограниченно велико, то в самом богатстве своего материала судьба находит щедрый источник для созидания подобий;

если же, напротив, события сплетаются из ограниченного числа начальных частиц, то неминуемо должны по многу раз происходить сходные события, порожденные одними и теми же причинами», — так объясняет Плутарх в биографии римлянина Сертория удивлявшие его самого аналогии в греческой и римской истории, в сходстве характеров и поступков целого ряда выдающихся людей.

Проделав огромную предварительную работу («во избежание упреков в небрежности и лени, я попытался собрать то, что большинству остается неизвестным»), он вполне осознавал всю сложность стоявшей перед ним задачи: написать еще раз о тех людях и событиях, к которым до него обращались Геродот, Фукидид и Полибий (не говоря уже о менее значительных историках), но сделать это так, чтобы не было ни повторения, ни подражания, особенно в манере письма. «А на мой взгляд, соперничать и состязаться в слоге — затея по сути своей ничтожная и софистическая, а если речь идет о вещах неподражаемых, то и просто глупая», — пишет Плутарх во вступлении к одной из биографий. Он постоянно подчёркивает, что, приступая к этой работе ставил перед собой свои задачи и самая главная из них оставить своего рода памятник драгоценному для него миру Эллады, которому уже не дано повториться?

Задавшись целью пройти вместе с читателями весь блистательный и горестный путь греков и римлян, Плутарх обращается к самому началу, когда на заре государственности герои и законодатели закладывали основы тысячелетней последующей жизни. От этих времен остались лишь предания да отдельные упоминания в старинных сочинениях. Поэтому, понимая всю относительность приводимых им сведений, Плутарх заранее просит благосклонного читателя отнестись со снисхождением к этим «рассказам о старине».

«Подобно тому, как историки в описаниях земли все, ускользающее от их знаний, относят к самым краям карты, помечая на полях: „Далее безводные пески и дикие звери“, или: „Болота мрака“, или: „Скифские морозы“, или: „Ледовитое море“, — начинает Плутарх свое повествование о Тезее, основателе афинского государства, — точно так же и мне, Сосий Сенецион, в работе над сравнительными жизнеописаниями, пройдя через времена, доступные основательному изучению и служащие предметом для истории, занятой подлинными событиями, можно было бы о поре более древней сказать: „Далее

чудеса и трагедии, раздолье для поэтов и мифографов, где нет мест достоверности и точности“»).

Эти смутные сведения восходили к тем туманным временам, когда над всей окрестной ойкуменой еще простиралось жестокое владычество Крита и Афины платили царю Миносу ежегодную дань: посылали на съедение чудовищу Минотавру своих юношей и девушек. Впрочем, сам Плутарх относился довольно скептически к этому мифу: «В аттическом театре Миноса неизменно поносили и осыпали бранью... А ведь в преданиях говорится, что он царь и законодатель, и что судья Радамант блюдет его справедливые установления». Тезей спасает посланных на съедение юношей и девушек и, став по возвращении в Афины царем, собирает под свою руку «всех жителей Аттики, сделав их единым народом». При этом он сразу же выделяет три основных сословия — благородных, земледельцев и ремесленников. Тезей не сразу стал почитаться как основатель афинского государства, однако у Плутарха он предстает как герой, заложивший основы тех Афин, которые сделались со временем Оком Эллады. Повествуя о подвигах и свершениях Тезея, он стремится следовать своему главному принципу — не писать панегирики даже наиболее выдающимся людям. Потому что при близком рассмотрении и они зачастую оказываются не полубогами, а людьми, у которых недостатки характера приходят в противоречие с их лучшими намерениями. Они тоже совершают ошибки, бывают порой несправедливы, жестоки, и тем не менее остаются великими. Так, описывая государственную деятельность Тезея, Плутарх считает нужным отметить, что при этом тот «стер с лица земли много городов, носивших имена древних царей и героев» (вероятно, пеласгических или же карийских). Он порицает героя и за то, что уже стариком тот похитил юную красавицу Елену... Возможно, речь шла все о той же Елене, дочери Зевса и Леды, из-за которой, согласно другому преданию, разгорелась Троянская война.

Главную же ошибку Тезея, равно как и Ромула (жизнеописания которых он объединил в одну диаду-пару) Плутарх видит в том, что «хотя они оба владели природным даром управлять государством, ни тот, ни другой не уберегли истинно царской власти: оба ей изменили, и один превратил ее в демократию, другой в тиранию». Что касается основателя Рима, то он действительно, упорядочив отношения между

различными слоями населения, не избежал «участи многих, вернее — за малыми исключениями — всех, кого большие и неожиданные удачи вознесли к могуществу и величию: всецело полагаясь на славу своих подвигов, исполнившись непереносимой гордыни, он отказался от какой бы то было близости к народу и сменил ее на единовластие, ненавистное и тягостное уже одним своим внешним видом».

С особым чувством Плутарх воссоздавал в своих произведениях жизни великих законодателей, какими для него были Ликург, которого он считает подлинным основателем Спарты, а также афинянин Солон и римлянин Пума Помпилий. Их главную заслугу он видит в том, что, обратившись к государственным делам, когда «в народе бушевали распри», они, как считает Плутарх, мудрыми законами и установлениями надолго прекратили междоусобицы. При этом он считает решающими личные качества государственного деятеля и придает меньше значения эпохе, как в данном случае, когда единовластие и строгие законы явились спасением для людей после разбойного права темных веков и были ими приняты с облегчением.

Для писателя, в какое бы время он ни жил, свойственно вкладывать в уста своих героев собственные мысли и надежды, наделять их чертами, присущими ему самому, а чаще теми, которые ему хотелось бы иметь. И если Ипполит или Пенфей Еврипида — это он сам, в различных ипостасях его трагически противоречивой личности, то многие герои Плутарха несут на себе отпечаток его собственной сущности, не говоря уже о том, что призваны служить подтверждением его философско-этических принципов. Так, жизнь Нумы, мудрого сабинянина из города Куры, после которого якобы осталось двенадцать философских книг на греческом языке, — это та жизнь, которой, по мнению Плутарха, надлежит жить всем тем, кто посвятил себя служению обществу.

Он с удовольствием живописует образ совершенного правителя, последователя Пифагора, который совершенно «отрешился от насилия и корыстолюбия, истинное мужество видя в том, чтобы смирять в себе желания уздою разума... Он изгнал из своего дома роскошь и расточительность, был для каждого согражданина, для каждого чужестранца безукоризненным судьей и советчиком, свой досуг посвящал не удовольствиям и не стяжанию, а служению богам». Рисуя этот идеальный образ, Плутарх, как и в других подобных случаях,

предпочитает как бы не замечать того, что старания Нумы привить римлянам мирные нравы и занятия дали не слишком долговечные плоды и вся дальнейшая история Вечного города представляла собой бесконечные войны, завоевания и грабежи.

Не суждено было испытать полного удовлетворения от своей политической деятельности и Солону, законы которого, в отличие от суровых установлений Ликурга, так и не смогли надолго закрепить, справедливое, как ему представлялось, устройство афинского общества. Купец по роду занятий, любитель наук и поэзии, Солон жил еще и те времена, когда, по словам Гесиода, «никакая работа не была позором, ремесло не вносило различия между людьми, а торговля была даже в почете, потому что она знакомила эллинов с миром варваров, доставляла дружбу с царями и давала разнообразный опыт». Солон побывал во многих странах, беседовал в Милете с натурфилософом Фалесом, сам писал стихи, со временем даже стал облекать «в стихотворную форму философские мысли и часто излагал в стихах государственные дела».

Афинский народ, почти весь задолжавший богатым, сам просил Солона «взять в свои руки государственные дела и положить конец раздорам». Отменив законы Драконта, написанные, как говорили, не черной краской, а кровью, Солон дал согражданам более человечные законы, но, как показало время, они также не смогли удовлетворить всех. Стряхнув с земельных участков бремя долговых камней и запретив давать деньги в рост «под залог тела», он все равно не смог угодить всем: богатые выражали недовольство уничтожением долговых обязательств, а бедные — тем, что так и не произошло передела земли, на который они надеялись. Тогда Солон решил на время покинуть Аттику, поставив условием, что его законы останутся в силе сто лет. Он побывал в Египте, где от жрецов Салесского храма узнал предание об Атлантиде, был гостем богатейшего из смертных Креза, а когда, наконец, возвратился в Афины, там уже царил тиран Писистрат. Довольный уже тем, что тиран, с которым он был дружен в молодости, сохранил хотя бы часть его законов, Солон окончил свои дни, как подобает истинному эллину, в занятиях поэзией и философией.

Скифу Анахарсису, побывавшему в эти годы в Афинах, законотворческие усилия Солона казались изначально напрасными.

«Он мечтает, — приводит его слова Плутарх, — удержать граждан от преступлений и корыстолюбия писаными законами, которые ничем не отличаются от паутины: как паутина, так и законы — когда попадаются слабые и бедные, их удержат, а сильные и богатые вырвутся».

Плутарх вынужден согласиться со своим персонажем-варваром, которого он сделал одним из сотрапезников в «Пире семи мудрецов» в том, что «результат получился скорее тот, который предполагал Анахарсис, чем тот, на который надеялся Солон». А иначе и быть не могло, поскольку Солон был сторонником демократии, подводит итог Плутарх, скептически, как и Платон, относившийся к афинской демократии. И напротив, причину прочности законов Ликурга он усматривает прежде всего в том, что тот не пошел на поводу у народа, оставив ему право только отвечать «да» или «нет» на задаваемые свыше вопросы.

Ликург предстает у Плутарха как идеал государственного деятеля, руководителя по самой своей природе, которому были присущи не только высокие нравственные качества, но и «некая сила, позволяющая ему вести за собой людей». Ликург поставил перед собой задачу Искоренить причины опасного для государства имущественного неравенства и сопутствующих ему «наглости, зависти, злобы и роскоши», и главное — уничтожить власть денег. Установив целый ряд строжайших запретов, он упростил жизнь спартанцев, ограничив их потребности только самым необходимым. Он вообще прекратил хождение денег, которые с тех пор граждане Лакедемона получали только для крайне редких, по делам государства, поездок в другие города. Ликург «считал необходимым зорче беречь город от дурных нравов, чем от заразы, которую могут занести извне». И одну из самых больших его заслуг Плутарх видел в том, что с тех пор в Спарте «никому не разрешалось жить так, как он хочет», что «никому из обычных граждан не дозволялось подавать свое суждение, и народ, сходясь, лишь утверждал или отклонял то, что предложат старейшины и цари».

И в этом — весь Плутарх, с его логически необъяснимой противоречивостью: навсегда преисполненный восхищения великой культурой Эллады, последователь великих философов, он пишет в то же время о том, что Ликург, изгнавший из Спарты все «лишние» ремесла и искусства, «превосходит славою всех греков, которые когда-

либо выступали на государственном поприще». Он любит создаваемым им же самым образом сурового и мудрого законодателя, настоящего пастыря неразумного человеческого стада, хотя сам он, доведись ему жить в ликурговой Спарте, оказался бы там совершенно ненужным. Теперь, когда почти все вокруг было отмечено мертвенной печатью вырождения, суровая сила спартанцев казалась прекрасной. Но если бы вдруг случилось так, что законы Ликурга распространились на Афины, Коринф и Фивы, где тогда так и не появились бы величественные строения, статуи, трагедии и философские трактаты, что осталось бы тогда вечным памятником эллинскому гению?.. И если бы не было предшествующих исторических сочинений, то откуда бы черпал Плутарх все эти сведения о минувших событиях, которые он подвергал придирчивому рассмотрению, сравнивая различные данные, сопоставляя противоречивые версии, «чтобы сказочный вымысел подчинился разуму и принял видимость настоящей истории»?

После пятнадцати лет правления, на сорок пятом году жизни был убит заговорщиками Домициан. Год, день и даже час его смерти были ему как будто бы предсказаны халдеем еще в ранней молодости, и потому с приближением назначенного срока он становился все более мнительным, и казни следовали одна за другой по самому ничтожному поводу. Невозможность терпеть это и дальше становилась все более очевидной даже для ближайших друзей императора и обласканных им вольноотпущенников, о заговоре знала как будто бы сама императрица. Известие о гибели последнего из Флавиев римский народ воспринял с тем равнодушием, с каким встречал, чем дальше шло время, любые перемены высшей власти, не ожидая для себя ничего лучшего и ненавидя всех сильных и состоятельных скопом. Что же касается населения провинций, то его, как всегда, беспокоило только одно: будет ли новый властитель так же снисходителен к ним, как прежний?

«Ведь даже тот, кто на себе самом не испытал какой-либо несправедливости, тяготясь гнетом и жестокостью общих условий, враждебен незаконным и неподотчетным властителям», — пишет Плутарх в диалоге «О демоне Сократа», обращаясь, как и в других сочинениях, к теме, которая приобретала особое значение во время правлений, подобных домицианову, — к теме тирании. Углубляясь в историю греков и римлян, Плутарх все больше убеждался в том, что

никакой внешний враг не наносит столько вреда обществу, как крайности правления, будь то анархия или тирания. Не раз случалось так, что общая внешняя опасность помогала сплочению общества и после победы над врагом, как это было в Элладе после победы над персами, все испытывали небывалый подъем. Следствием же многолетней тирании было нарастающее безразличие народа и к делам государства, и к собственной судьбе. Так, три столетия назад тирания довела сицилийцев до такого состояния, что в Сиракузах «городская площадь заросла высокой травой и там паслись лошади, и в густой траве лежали пастухи. Прочие города, кроме лишь очень немногих, стали обиталищем оленей и кабанов». Когда тиран ведет многолетнюю войну против собственного народа, истощается народная сила и крепнет желание держаться подальше от ораторской трибуны, от городского совета, от каких бы то ни было государственных учреждений. Наступает апатия, неверие в возможность что-либо исправить, а затем и окончательный закат.

В своих сочинениях Плутарх выводит целый ряд омерзительных образов тиранов, молва о кровожадности которых и полном попрании ими справедливости пережила столетия. Одним их таких был Александр из города Феры: он «закапывал людей в землю живыми, а иных приказывал обернуть в шкуру кабана или медведя и, спустивши на них охотничьих собак, развлекался, глядя, как несчастных рвут на куски». Плутарх с удовлетворением пишет о бесчестной кончине «людей зла», о жалкой участи их черных душ, над которыми даже в ином мире тяготеет беспощадная ненависть. Он выводит также и ряд тираноборцев, которые, по его мнению, были обязаны прежде всего философии своей страстной непримиримостью к любому угнетению и «вышли на великую и грозную борьбу словно бы из одной палестры». В то же время, обращаясь к вопросу о том, почему из народных вожаков, как будто бы заступников, выходят нередко еще большие злодеи, чем те, против которых они боролись, Плутарх не может дать ответа. Обычно он объясняет это ничем иным, как несовершенством самой человеческой природы, видит главную причину в той живучести изменных качеств, в той жажде почестей и власти, не говоря уже о страсти к золоту, которые оказываются, быть может, неожиданностью даже для самих этих людей.

Казалось, фортуна опять повернулась в сторону старинных родов — новым императором стал престарелый Марк Кокцей Нерва, не отмеченный никакими особыми заслугами, но известный своей уравновешенностью и уважением к наследию республики. Как это бывает после особенно тягостных периодов, в государстве, казалось, наступил новый «золотой век». И последующие шестьдесят пять лет правления Антонинов (так, в достаточной степени условно, называлась новая династия, поскольку четырех ее императоров связывали не узы крови, а обычай усыновления) оказались последним периодом относительно мирной и созидательной жизни, когда принцепсы стремились хоть как-то сдерживать обнищание и вырождение населения, а также упадок воинской мощи — все то, что приняло после них необратимый характер и сделало, в конце концов, Вечный город беспомощной добычей варваров.

С началом правления Нервы словно бы вернулись времена республики, император, как встарь, во всем спрашивал совета у сената, законы обсуждались в курии. Прекратились преследования знати, возвратились в Рим стоики. Нерва не благоволил к доносчикам, и его окружение как будто действительно состояло из более или менее порядочных людей. Однако, как стало видно довольно скоро, не всех это устраивало. Взбунтовались преторианцы, лишённые былых привилегий, избрав как повод уничтожение изображений Домициана и выскабливание самого его имени в памятных надписях. Преторианцы потребовали выдачи и казни убийц Домициана, и на какое-то время Рим опять оказался во власти солдатни и примкнувших к ней люмпенов, всегда готовых к грабежу и насилию. Дело дошло до того, что самого Нерву захватили в плен, и под угрозой немедленной расправы он был вынужден выдать преторианцам причастных к заговору против убитого Домициана. Не исключено, что его принуждали отречься от престола, однако Нерва устоял и сразу же, как только преторианцы успокоились, он поспешил усыновить Марка Ульпия Траяна, родом из Испании; тот был известен своими военными заслугами и его поддерживали германские легионы. Наделенный трибунской властью, Траян стал соправителем Нервы и немало способствовал оживлению торгово-хозяйственной жизни империи, особенно — в приходящей во все большее запустение Италии. Чтобы повысить рождаемость среди свободного населения, была учреждена

алиментарная система — пособия для детей бедняков. Земледельцы могли получать ссуду под невысокий процент из специально созданного фонда, и даже был выдвинут проект покупки земель за государственный счет для последующей раздачи ее безземельным. Все это внушало надежды на то, что будут снижены налоги и оказана какая-то помощь беднякам и в провинции Ахайя, где большая часть населения давно уже находилась в долговой кабале. Бал правили ростовщики, которых Плутарх в трактате «О том, как не надо делать долгов» сравнивал с Датисом и Артаферном, посланных когда-то Дарием «с цепями и веревками для пленных в руках»: «Вот так и они таскают с собой ящички с расписками и договорами — настоящие цепи для Эллады! От города к городу странствуют они и всюду сеют... зловещие, плодовитые корни долгов, которые удушают целые города».

В то же время Плутарх видел одну из причин долговой кабалы в нежелании и неспособности людей отказаться от роскоши, от всего того, что еще Сократу казалось лишним для нормальной человеческой жизни. «Как же мне прокормить себя? — пишет Плутарх, призывая, подобно Сократу, довольствоваться самым необходимым. — И ты это спрашиваешь, располагая руками, ногами, голосом, будучи человеком, которому дано любить и быть любимым, оказывать услуги и с благодарностью их принимать? Учи грамоте, наймись дядькой, привратником, моряком, лодочником». В своих сочинениях Плутарх обращается к вошедшим в предания великим людям, которые отказались от обладания вещами и деньгами, чтобы не разменять на медяки золото своей души. И первым в этом ряду стоит у него беотийский полководец Эпаминод, который «привычную, перешедшую к нему от родителей бедность сделал еще более легкой и необременительной, занимаясь философией и с самого начала избрав жизнь в одиночестве». Как и многим мыслителям прошлого, Плутарху представлялась благотворной «наследственная закалка бедностью», хотя бедность в его понимании — это умение довольствоваться самым необходимым, но, конечно, не та крайняя нищета, которая способна лишить человека даже присущих ему от рождения добрых качеств и хороших задатков.

Что же касается его самого, то он уже находился в том возрасте, когда все осязаемое становилось противоречия между душой и телом, когда ветшающая физическая оболочка становилась все более

раздражительной, а уставшая от трудов и страданий душа жаждала лишь одного — отлететь. Всю жизнь равнодушный к тем благам, которые причисляются философами к внешним и приобретаемым, на склоне лет Плутарх вообще перестает об этом думать, тем более что у него было все, необходимое для спокойного существования, и всецело обращается к литературным и философским занятиям.

Хотя не сохранилось почти ничего из его трудов научного характера (а может быть, таких больших трудов и не было), отдельные высказывания, приводимые в других сочинениях, а также свидетельства его биографов, позволяют говорить о том, что основным предметом его исследований были особенности физической и духовной природы человека. Плутарх представлял человека как соединение трех достаточно независимых начал: физического, умственного и духовного.

Тело он считал состоящим из таких же элементов, как и весь остальной мир, а именно — из земли, воды, воздуха, огня и эфира. В разуме, призванном все приводить в порядок и гармонию, Плутарх видел частицу солнечной энергии, а в душе — бессмертную сущность человека, через которую он причастен божеству. И если физическая природа человека подвластна необходимости, то разум и дух его — свободны. Трагическое противоречие между зависимостью тела от земных обстоятельств и автономией души разрешается, как считал Плутарх, следуя в этом Платону, только после их разъединения. «Как рабы, получив волю, начинают делать сами для себя то, что прежде делали на пользу господ, — пишет Плутарх в „Пире семи мудрецов“, — так душа наша, ныне питающая тело ценой многих трудов и забот, по избавлении от этого служения будет питать сама себя и будет жить с взором, обращенным лишь на саму себя и истину, ничем не отвлекаемая и не отвращаемая».

Рассуждая об особенностях человеческой природы, Плутарх, по эллинскому обыкновению, имел в виду прежде всего греков и в какой-то степени римлян прошлых времен. О том, что его умозаключения могут не подойти для других народов, он, кажется, вообще не думал: как для Платона или Аристотеля, для него человеком был прежде всего эллин. И хотя его рассуждения о душе, во многом повторяющие Платона и Пифагора, относятся как будто бы к душе вообще, все равно речь идет прежде всего о внутреннем мире греков. Так же как и

открытые греческими мудрецами закономерности бытия, отражающие, казалось бы, космические взаимосвязи, действуют словно только в замкнутом мире Эллады, а за ее пределами — хаотическая первоначальная материя, еще не охваченная божественной мудростью Демиурга. Таким хаосом, как представляется, виделся Плутарху наступающий на них варварский мир, где жестокое противоборство с природой и свирепыми соседями продолжало оставаться сутью жизни, перед которой мог бы встать в тупик любой последователь Пифагора и Платона.

Плутарх не утруждает себя размышлениями об этих людях (возможно, даже не считая их людьми), его мир — это идущий к закату мир «прирожденной Эллады», и те добродетели, уважение к которым стремится он внушить, те нравственные каноны, к которым он призывает, — все это достояние прошлого, того, как хотелось ему верить, «золотого века нравственности», когда меньше боялись лишиться жизни, чем сделать что-то постыдное.

Этим золотым веком, с которым он соотносит последующую историю греков и римлян, были для него первоначальные времена свободных полисов и даже более ранние — полумифического царства Пелея, когда люди были заняты в основном земледельческим трудом, чтили древних богов и стоящую над всем сущим Правду. В те времена, как хотелось верить Плутарху, люди одного племени были как единый организм, все члены которого нерасторжимо связаны, подчиненные общему разуму и воле. Это было начало истории Эллады, когда она породила целый ряд выдающихся людей, подобных которым больше не было. Он с гордостью выводит в своих биографиях образы этих необыкновенных людей, таких как афиняне Киимон, Аристид, Фемистокл и Перикл, бессмертие которых — подтверждение того, что былое величие Эллады не вымысел.

Первым из этих людей по праву является Аристид по прозвищу Справедливый, его и Платон одного лишь считал достойным упоминания: «Фемистокл, — говорит он — Кимон и Перикл наполнили город портиками, деньгами и всевозможными пустяками, меж тем как Аристид, управляя государством, вел его к нравственному совершенству». Избранный шесть веков назад руководить делами города накануне персидского вторжения, Аристид прежде всего стремился сохранить ту власть народа, которая установилась в Афинах

после освобождения от тирании. Сам совершенно бескорыстный, он никому не позволял ни обмануть государство, ни поживиться за счет другого. В отличие от честолюбивого Фемистокла, своего главного соперника в политике, который признавался, «что ему не дает спать трофеем Мильтиада», Аристид сам уступил командование доблестному Мильтиаду в битве с персами при Марафоне. Наградой за благородство и мягкость в обращении с людьми было изгнание. Даже само прозвище Справедливый сделалось ненавистным неблагодарным согражданам, и когда, в значительной мере стараниями Фемистокла, Аристида было решено подвергнуть ostracism как опасного для государства человека, большинство проголосовало за изгнание. И это было только началом: на протяжении ряда последующих десятилетий афинский народ изгонял, уничтожал, приговаривал к смертной казни самых лучших из своих соплеменников; в конце концов запас чем-либо выдающихся людей иссяк, и тогда окончилась история свободных Афин.

Изгнание стало участью и Спасителя Эллады Фемистокла, которого на первых после победы над персами Олимпийских играх приветствовал стоя весь стадион. Незаконнорожденный сын афинского гражданина Неокла и фракийской рабыни, которого в детстве не пускали в гимнасий для законных детей, Фемистокл спас афинян, вывези их на кораблях на острова. Он был одним из предводителей греков в Саламинском сражении, после которого в войне наступил перелом, и впоследствии неустанно заботился об укреплении мощи Афин. Считая себя человеком из народа, он способствовал усилению влияния мореходов, купцов и ремесленников, почти лишив бывшего значения аристократический Areopag.

Однако за Фемистоклом тянулись упорные слухи о том, что он не слишком-то щепетилен в распоряжении государственной казной, в отличие от всем известной честности изгнанного им Аристида. Подвергнутый в конце концов ostracism, Фемистокл не нашел пристанища ни в Спарте, ни в каком-то другом греческом городе. И Спасителю Эллады не оставалось ничего иного, как только «пасть ниц» перед сыном побежденного им персидского царя в поисках пристанища.

Плутарх порицает такую неблагодарность афинян, однако его симпатии всецело на стороне аристократа Кимона, ставшего первым

человеком в Афинах после изгнания Фемистокла. Великодушный, бескорыстный и щедрый, Кимон был, пожалуй, последним из тех, кто вызывал в памяти образы древних героев. На память о нем остались площадь, обсаженная платанами, саженцы которых он привез из Персии, и тенистая роща возле святилища древнего героя Академа, куда он провел воду и где полвека спустя основал философскую школу Платон. Плутарх любит этим выдающимся человеком, который не мыслил жизнь иначе, как только в служении отечеству, и не находит ему никого равного впоследствии среди «свокорыстных искателей народной благосклонности и разжигателей междоусобных войн».

Последним из афинских политиков, у которого Плутарх находит целый ряд достоинств, был Перикл, человек во многом иного склада, чем Кимон, безусловно, выдающийся государственный деятель, но уж никак не герой. Сосредоточив всю власть в своих руках (так что это была только по видимости демократия, а на самом деле все важные решения принимались одним человеком), Перикл понемногу подчинил влиянию Афин почти всех бывших союзников по борьбе с персами. Это в значительной мере на их деньги (из общего фонда на случай нового вторжения) был заново отстроен Акрополь. Парфенон и другие величественные памятники «золотого периклова века», долгие века приводившие в изумление всех, посещавших Афины, навсегда остались «доказательством того, что прославленное могущество Эллады и ее прежнее богатство не ложный слух». Впрочем, все это великолепие зиждилось на несправедливости, что также отмечает Плутарх, как каждая великая культура оплачена потом и страданиями рядовых ее создателей, чему самый красноречивый пример — египетские пирамиды. Обиравые союзники роптали из-за поборов, но Перикл обрывал их протесты, предваряя те призывы поставить на место жителей островов Самоса или же Мелоса, которые спустя совсем недолгое время будут звучать в афинском народном собрании: «Афиняне не обязаны отдавать союзникам отчет в деньгах, потому что они ведут войну в защиту их и сдерживают варваров». И в этом самомнении, нарастающем пренебрежении интересами соседей, таких же греков, таились предпосылки краха афинского могущества, сроки которого оказались недолгими.

Как и во всех других случаях, обращаясь к переломным периодам в истории греческих полисов, а потом и римской республики, Плутарх

не столько стремится разобраться в глубинных общественных причинах воссоздаваемых событий, сколько пытается отыскать эти причины в личных качествах и мотивах поведения людей, находящихся у власти и, следовательно, в первую очередь ответственных за происходящее. Хотя в то же время признает, что именно эпоха рождает тот или иной тип личности: героев в начале доблестной истории эллинов, рассудительных прагматиков в ее последние здоровые времена и перевертышей, беспринципных авантюристов в эпоху угасания.

Самым главным в Перикле Плутарх считал его необыкновенное самообладание, видя в этом следствие его дружбы с философом Анаксагором, а также его прославленную честность: «Хотя он могуществом превзошел многих царей и тиранов... он ни на одну драхму не увеличил своего состояния против того, которое оставил ему отец». И в то же время «раздачею денег на зрелища, платою вознаграждения за исполнение судейских и других обязанностей и разными вспомоществованиями», считает Плутарх, Перикл подкупил народную массу, так что она вскоре сделалась безвольным орудием своекорыстных демагогов, всех этих клеонов, стратоклов и драмоклидов, окончательно сгубивших демократию в Афинах. Трагическое противоречие между великими начинаниями и их печальным конечным результатом так и осталось самой большой загадкой для Плутарха.

Он стремится разобраться, почему же сегодняшняя победа оборачивается завтрашним поражением, и не находит иного объяснения, кроме извечного закона диалектики, в силу которого все неизбежно обращается в свою противоположность, и ничего с этим поделан, невозможно.

Исследователи творчества Плутарха не раз уличали его в хронологических неточностях (когда, например, он описывает колоннаду или портик в те времена, в которые их еще не было), упрекали в том, что он путает имена и даже, факты. Он знал об этом и сам, но считал несущественным, поскольку писал не для дотошных схоластиков, которые будут цепляться к каждому слову. Это была литература, а не история. И «Сравнительные жизнеописания» были предназначены прежде всего для тех, кто хотел видеть общую картину эллинского прошлого, попытаться понять, что же связывало воедино

эти судьбы, события и явления, все то, что впоследствии назовут античной цивилизацией.

На Перикле заканчиваются для афинян навсегда оказавшиеся такими недолгими времена могущества и благополучия. И хотя еще несколько десятилетий в Афинах появлялись люди, готовые к лишениям и жертвам во имя отечества, однако в целом город Паллады неотвратимо двигался, как и другие греческие города, к бедности и запустению. И когда во время поездок по Греции Плутарх видел заросшие сорняками поля и угасающие поселения, он не мог, в который уже раз, не подумать о том, что государство — это прежде всего народ, который упорным трудом «сопоставляется с природой», а когда это сопоставление прекращается, приходит конец и самому государству.

Когда-то Сократ предупреждал о том, что с запустением земли, упадком земледелия понемногу угасают все ремесла и искусства. Теперь эти предвидения сбылись: захудалые мастерские понемногу прекращали производить товары на вывоз, пахотные земли все чаще использовались как пастбища для лошадей. Окончательно отошедшая от труда на земле беднота мыкала нужду в городах, где, как говорил Дион Христомом, «и за помещение надо платить и все другое покупать, не только одежду, хлеб, даже дрова ради ежедневной потребности в огне». И все равно никто не соглашался возвращаться в деревню, мало кто из свободных хотел работать вообще, и всем было все равно. Из свободных земледельцев оставались лишь огородники вокруг городов, а все большие участки давно были скуплены новыми богачами, зачастую выходцами из восточных провинций, и на них работали разноплеменные рабы. Если же кто из небогатых граждан на свой страх и риск приступал к возрождению запущенного участка, это вызывало непонимание и насмешки, и редко его ждал успех на этом пути. Восхваляя в своей «Борисфенитской речи» здоровую, простую жизнь в небольших городках, окруженных полями и садами, Дион Христомом, как и многие другие, считал, что надо просто выселить из городов «упорных нищих», сдать запустевшие земли в аренду на льготных условиях и создать постепенно новый слой свободных земледельцев. Предполагалось, по-видимому, что новые земледельцы придут откуда-то со стороны, а вместе с «упорными нищими» окончательно исчезнут выродившиеся потомки тех, кто еще несколько

столетий назад составляли основу благополучия старинных городов. И это будет уже совсем другая Греция, совсем другое население, так же как впоследствии и Рим.

Однако городские власти все никак не могли решиться на столь крайние меры — ведь эти неимущие все-таки были греки — и продолжали время от времени подкармливать их хлебом, жертвующим римскими властями. Те же из неимущих, кто еще сохранял какие-то способности и навыки, понемногу перебирались в более благополучные провинции, и уделом Ахайи, о чем пишет Плутарх в трактате «Об исчезновении оракулов», все больше становилось «малолюдство». Эллада уходила за горизонт никем не созданного времени, уже никому не дано ее было вернуть, хотя Плутарху хотелось надеяться, что рядом разумных мер можно хотя бы отсрочить печальный конец.

Через все его писания проходит этот главный вопрос: кто же виноват в том, что безвозвратно уходят былая сила, свобода и самая жизнь и остаются, чтобы также исчезнуть со временем, только прекрасные храмы, надгробные надписи и смутные воспоминания потомков, уже ни в чем не похожих на своих пращуров? Почему же так коротки исторические сроки? В чем причина теперешнего ничтожества — в немилости подвергнутых сомнению богов, в саморазрушительных действиях самих людей, недальновидных, обуреваемых низкими страстями? Или же это согласный всему остальному в природе процесс старения и умирания общественного организма, и каждый народ, как и отдельный человек, имеет свою горячую молодость, богатую свершениями зрелость и жалкую, бессильную старость, когда он должен быть благодарен уже за то, что молодые здоровые соседи не только что не прибили его под горячую руку, но даже суют время от времени миску ячменной похлебки или же пару сморщенных яблок...

Плутарх не склоняется к какому-то окончательному выводу, для него теперешний упадок виделся следствием многих причин. Главнейшей из них он считал ту нравственную порчу, которая хуже чумы, хуже голода или варварского нашествия. Именно от падения нравов, сопутствующего завершению истории почти каждого народа, погибла, если верить Платону, Атлантида. Печальная участь Эллады еще раз подтверждала, что самое главное в человеческой жизни — это то, о чем напоминал в свое время согражданам Софокл, тот высший

закон, который живет в человеческой душе и называется совестью. И когда умолкает ее голос (кто знает, может, это и есть голос Вселенского логоса), тогда кончается все. И все же Плутарх продолжал надеяться, что нравственность можно возродить — посредством соответствующего воспитания, образования и главное — приобщения к философии. Ему хотелось верить, что душа человеческая сама тянется к прекрасному и доброму, тому, что она созерцала на своей небесной прародине, и что стремление это можно усилить, постоянно представляя молодым людям примеры, достойные для подражания. Именно этого он стремился достигнуть своими сочинениями.

Когда-то Платон писал о детях телесных и духовных: «Да и каждый, пожалуй, предпочтет таких детей, чем обычных, если подумать о Гомере, Гесиоде и других прекрасных поэтах, чье потомство достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно». Есть основания считать, что Плутарх был счастлив в семейной жизни. У него была любимая прекрасная жена, сыновья и внуки, гордящиеся его именем. И все же подлинные его дети — это созданные им образы выдающихся людей прошлого, величие которых до сих пор заставляет удивляться богатству и мощи человеческой природы.

Работая над «Сравнительными жизнеописаниями», Плутарх продолжал изучать многочисленные греческие и римские исторические сочинения. Он выискивал и приобретал уже мало кому известные труды Филохора, Тимея, Автоклида, живших за четыре и более столетий до него. В изобилующих подробностями сочинениях Диэвкида по истории города Мегары, Филиста из Сиракуз или же Александра Миндского, прозванного за свою ученость Полигистором, вставала перед ним жизнь, наполненная великими делами, открытиями, подвигами, бурным кипением политических страстей. Та жизнь, которую уже было никогда не вернуть и которая временами казалась Плутарху более реальной, чем окружавшая его скудость угасания, как будто бы она продолжалась в каких-то иных измерениях многогранного мира. Хотя над лесистыми горами и тихими долинами Ахайи по-прежнему сияло животворящее солнце, оно словно бы перестало питать живительной энергией иссякшие души его соплеменников. Как будто все вокруг окутала серая пелена, которая

начала понемногу наползать на Элладу пятьсот лет назад, начиная с того прекрасного сентябрьского дня, когда, справляя праздник Элевсиний, афиняне торжественно двигались по древней священной дороге и вдруг увидели на горизонте пыльное облако — это была македонская конница. И с тех последних свободных Элевсиний мертвящая эта пелена росла себе да росла, пока не накрыла целиком подневольную Грецию, и та словно бы уподобилась Луне, неподвижное тело которой уже не в силах оживить освещающее его бесчисленными тысячелетиями солнце.

Плутарху нравилось сравнивать описание одних и тех же событий у разных авторов, сопоставлять различные толкования поступков выдающихся людей, придирчиво отделяя то, что казалось исторически достоверным, от «невероятнейших и глупейших басен». Сомневаясь во всякого рода чудесах и небылицах, в том числе и у склонного к ним Геродота, он если и обращался порой к подобным «рассказням», то всегда делал оговорки, вроде «не следует верить Андокиду», «не следует верить и рассказу Филарха». Достоверность сообщаемого была связана для Плутарха с репутацией автора, с теми нравственными и гражданскими качествами, которыми тот был известен. Поэтому у него вызывает сомнения «усердствующий нё по разуму» Эфор, мастер отыскивать благовидные объяснения для несправедливых поступков, известный к тому же своим преклонением перед тиранией.

Понаторев в латыни, Плутарх открывает для себя Валерия Атиата, Фенестеллу, Азиния Поллиона, Квинта Лутация Катулла. Он с увлечением изучает труды историков Тита Ливия и Корнелия Непота, философа Варрона, трактаты Марка Туллия Цицерона и «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря, о чем свидетельствуют многочисленные замечания в «Сравнительных жизнеописаниях». Работая над биографиями римских императоров, Плутарх обращается к современным ему авторам, в частности, к Марку Клувию Руфу, писавшему о Гальбе и Вителлин. Возможно, что эти сочинения он получал через Сосия Сенециона, с которым поддерживал многолетнюю переписку и которого не раз упоминает в своих сочинениях.

И чем больше Плутарх вчитывался в труды своих предшественников, тем очевиднее становилась для него следующая

закономерность: если произведения Геродота, Ксенофонта и Фукидида напоминали мощью слога и дерзновенностью мысли величественны с творения современных им скульпторов и зодчих, до сих пор украшающие Афины, то более близкие ему по времени сочинения представляли собой не более чем перечни разнообразных сведений, порой весьма любопытных, и были лишены основного — связующей их идеи. В них не было общей картины жизни описываемого времени и не было ее философской интерпретации. То же самое было характерно и для произведений многих римских историков, которые писали вольно и красноречиво, пока «вели речь о деяниях народа римского», то есть о временах Республики, и словно бы утрачивали весь свой дар, описывая дела империи как ряд событий, совершенно им безразличных. Потому что было невозможно воссоздать с живительным блеском картину того, что уже умерло или умирало, и не находилось тех прямых и сильных слов, которые, по-видимому, могут быть только у свободных и сильных духом людей.

Плутарх создает ряд биографий знаменитых римлян времен Республики, живших отечества ради. Такими для него были Камилл, защитивший пятьсот лет назад Италию от вторжения галлов, опустошившего Грецию, а также Фабий Максим, Публий Корнелий Сципион и Марк Порций Катон Старший, достопамятные свершения которых приходятся на почти столетнюю войну с Карфагеном. Достойными всяческого уважения Плутарх считал также Тита Квинтия Фламинина и Эмилия Павла, которые положили конец македонскому господству в Элладе, что поначалу было воспринято греками действительно как освобождение. И хотя Плутарх сравнивает Камилла с Фемистоклом, поскольку оба они явились спасителями отечества от варваров, а Фабия Максима с Периклом, подчеркивая их мудрую предусмотрительность в государственных делах, в действительности было не так-то много общего у великодушных, образованных, широко мыслящих эллинских вождей, с их любовью к искусствам и философской беседе, — с чуждыми всякого умствования, жестокосердными при всей их доблести сыновьями Железного города.

Плутарх добросовестно стремится отдать должное выдающимся римлянам, хотя многое в них, да почти что все так и остается для него непонятным и неприемлемым. Так, при всем уважении к упорству, с которым Катон Старший отстаивал «старинное благозаконие»,

Плутарх так и не смог признать подлинно великим человека, который стремился «смешать с грязью всю греческую науку и образованность», опасаясь, как бы римские юноши «не стали предпочитать славе речей славу подвигов». Для него были неприемлемы холодная жестокость, то бездушные, которыми отличались от большинства греков даже такие, казалось бы, безупречные римляне, как Катон: «Но мне то, что он, выжав из рабов, словно из вьючного скота, все соки, к старости выгонял их вон и продавал — мне это кажется признаком нрава слишком крутого и жестокого, не признающего иных связей между людьми, кроме корыстных. А между тем мы видим, что доброта простирается шире, чем справедливость».

Именно за эти редкие для римских военачальников качества — великодушие и человечность — Плутарх ценил Тита Квинтия Фламинина и Эмилия Павла, которых он сопоставляет с наиболее уважаемыми им греческими стратегами, Тимолеоном и Филопеменом. У Плутарха Фламинин предстает как благожелательный и благородный человек, известный любовью к эллинской культуре, освободитель Греции от варварского господства македонян. «Ни разу до этого Греция не соприкасалась так близко с Римом и тогда впервые оказалась замешанной в его дела, — пишет он в связи с этим, — и не будь римский полководец от природы человеком великодушным, чаще обращающимся к речам, чем к оружию, не будь он так убедителен в своих просьбах и так отзывчив к чужим просьбам, не будь он так настойчив, защищая справедливость, Греция отнюдь не столь легко предпочла бы новую чужеземную власть прежней, привычной». Хотя, как показало время, правы оказались те, которые считали, что благодеяния Фламинина, так же как впоследствии Эмилия Павла, состояли лишь в том, что, «развязав Греции ноги, он накинул ей веревку на шею».

Среди персонажей «Сравнительных жизнеописаний» немало и таких, чья бурная, чаще всего бесславно окончившаяся жизнь была призвана служить примером того, насколько пагубны чрезмерные амбиции и неуправляемые страсти. Это целый ряд по-своему незаурядных людей, которым от природы не было дано прожить спокойно, в какие бы времена они ни жили: блестящий афинянин Алкивиад, эпирский царь Пирр, «морской царь» Деметрий Полиоркет, плебейский диктатор Гай Марий, один из последних военачальников

Римской республики Марк Антоний. Начинает этот перечень Гай Марций Кориолан, который, при всей своей храбрости и благочестии, вошел в анналы истории как предавший отечество. Плутарх сравнивает его с Алкивиадом, исходя прежде всего из сходства их натур, но это представляется натяжкой: Алкивиада, человека последних времен свободной Эллады, для которого не было ничего святого, все же трудно обвинить в сознательном предательстве отечества, в то время как Кориолан действительно совершает предательство, причем на заре римской истории, когда это вообще было делом немыслимым.

В то время Рим вел войну с городом вольсков Кориолами, в ходе которой, как обычно, отличился храбростью аристократ Гай Марций. В связи с военными трудностями и нехваткой хлеба в Риме начались раздоры между патрициями и плебеями, и Гай Марций, известный как самый ярый противник черни, был изгнан из города. Гнев и жажда мести затмили его рассудок, и Кориолан (как отныне его стали называть), перейдя на сторону вольсков, повел их на Рим. И хотя он был остановлен собственной матерью и почти тут же убит новыми союзниками, напавшими на него со всех сторон, предательство перечеркнуло все его прежние подвиги.

Создавая один за другим исполненные жизни портреты людей, из подвигов и ошибок которых слагалась их теперь все больше общая история, Плутарх не считал себя вправе еще раз выносить приговор тем, кто уже расплатился за свои промахи и добрым именем, и самой жизнью: «если прямым жертвам тогдашних беззаконий, быть может, еще и простительно вымещать свой гнев даже на бесчувственных останках, то писателям, повествующим делах прошлого... забота о собственном добром имени воспрещает глумиться или потешаться над несчастьями, от которых, по воле случая, не защищен даже самый прекрасный и достойный человек». Из творений старинных поэтов, к которым Плутарх постоянно обращался, было видно, какой бездной может разверзнуться оскорбленное человеческое сердце, такое, как почерневшее от смертельной обиды сердце еврипидовой Медеи, зажавшей своих детей. И в то же время именно страсти, все низвергавшие бурные желания придавали прежней жизни греков ту цену, которую она утратила теперь в подневольном ничтожестве.

Пришло известие о кончине престарелого Нервы. Назначенный наследником Траян находился с это время со своими войсками на рейнской границе. Как это нередко бывает, под занавес своей истории социум выдвигает порядочных, здравомыслящих людей, призванных хоть сдержать угасание и готовых к активному действию во имя этого. Такими были Траян, Адриан и Марк Аврелий, а потом разлагающийся греко-римский мир все реже являл что-либо подобное. Многим в империи, как Плинию Младшему, хотелось видеть в воцарении Траяна «предуказание с неба», хотелось верить, что государство обрело, наконец-то, настоящего хозяина. В своем «Панегирике императору Траяну» Плиний Младший рисует внушающую надежды картину восстановления порядка и законности. Император восстановил пошатнувшуюся дисциплину в лагерях, водворил мир на форуме и главное — предпринял самые жесткие меры против доносчиков, учредив над ними «такой же суд, как над бродягами и разбойниками»: «Все они были посажены на быстро собранные корабли и отданы на волю бурь: пусть, мол, уезжают, пусть бегут от земли, опустошенной через их доносы». Траян совершенно оставил в покое старинную знать, так много претерпевшую при предшествующих императорах, тем более что она не играла почти никакой политической роли. Теперь повсюду заправляли выходцы из провинций, не устававшие восторгаться простотой и доступностью нового императора.

Трудно сказать, сколько риторики и сколько истины было в панегирике Плиния Младшего, однако, соответствуя похвалам, Траян все больше показывал себя как правитель, стремящийся к общему благополучию. Его главные заботы были направлены на укрепление восточных границ, обуздание окрестного варварства, а также на оживление хозяйственной жизни в империи, возрождение земледелия, ремесел и торговли. Все это порождало надежды на то, что, может быть, и для греков начнется какая-то новая жизнь, и они еще увидят заполненные продовольствием рынки и пышные празднества, на которых новые музыканты и поэты возродят славу прежних служителей Муз, исчезнувшую вместе со всем остальным.

Плутарху было отрадно видеть хотя бы на склоне лет некоторые признаки улучшения. Ему хотелось надеяться, что мудрое правление хоть как-то уменьшит общественную несправедливость и нищету, обуздает «наглое богатство». Он был против любых переделов и

радикальных нововведений, убежденный в том, что в конечном счете от всего этого бывает больше вреда, чем пользы. Он считал, что «у кого есть все необходимое, кому в нынешнем своем положении жаловаться не на что, того лишь безумие может заставить изменить привычный порядок». События римской истории также служили для него подтверждением того, что ломать заведенный порядок следует лишь и чрезвычайных обстоятельствах.

И дело было не в том, что сам он, человек обеспеченный, опасался каких-либо «отчуждений частного имущества или разделов общественного». Он был глубоко убежден, что различные начинания по установлению имущественного равенства явились одной из главных причин ослабления греческих полисов, а в теперешнем их положении они просто губительны. Все прошлое греков свидетельствовало о том, что сколько бы раз ни предпринимались попытки уравнивать бедных и богатых, через какое-то время все возвращалось на круги своя, и новые богачи, из вчерашних бунтарей, оказывались еще отвратительнее прежних. И из всех человеческих типов наибольшее отращивание вызывали у Плутарха абсолютно лишённые совести своекорыстные демагоги вроде афинского Клеона, которые, возбуждая и народе низкие и темные страсти, «вращивая их, по словам Платона, как трутней с жалами», довели в конце концов некогда славные города до теперешнего жалкого состояния.

Плутарх постоянно возвращается к вопросу о том, как избежать, разделения на бедных и богатых, какими средствами бороться со страшнейшим из недугов — стремлением к обогащению и угнетению себе подобных. Как многим философам прошлого, ему хотелось верить, что если бы каждый достиг понимания того, в чем состоит подлинное богатство, то сразу стало бы легче, потому что пищи, одежды и прочего, действительно необходимого для жизни, хватило бы, по его мнению, на всех. А единственно верный путь к общественной справедливости, по его мнению, — это совершенствование собственного внутреннего мира, поскольку даже самые благородные попытки изменить мир внешний успеха пока не возымели.

Подтверждением этого являются для Плутарха трагические судьбы великих реформаторов прошлого — спартанских царей Агиса и Клеомена, римлян братьев Гракхов, попытки которых учредить более

справедливый порядок закончились их гибелью. Народ, как обычно, не поддержал своих защитников, а богатые оказались сплоченнее и хитрее. Главная же причина состояла в том, что гражданское равенство — идеал Агиса и братьев Гракхов — не могло сохраниться в обществе, где воцарилась власть золота. А теперь, когда для всех них государство, императорская власть были единственной защитой и от собственных хищников-богатеев, и от окрестного варварства, Плутарху было страшно даже подумать о каких-то общественных потрясениях. И поэтому он неустанно призывает гасить в зародыше любую смуту, ибо иногда бывает достаточно единственной ошибки, чтобы сгубить благополучие города, государства. Это был один из главных выводов его исторических изысканий: «если в государстве перевернуть все вверх дном, то у него вряд ли хватит сил поставить все на место».

Не видя для своих современников возможностей к преобразованию общественной жизни, Плутарх предлагает каждому прежде всего привести в порядок собственный микрокосмос, приучить себя быть справедливым и снисходительным к слабостям других. Он и сам, о чем пишет в трактатах и письмах к римским друзьям, уже будучи зрелым человеком постоянно работал над собой, давая себе обеты не гневаться, совершенно воздерживаться от вина в течение какого-то времени. «Я тщательно следил за собой, — пишет он в трактате „О подавлении гнева“, — стремясь оставаться благоречивым, снисходительным и безгневным, чистым от злых слов и дурных поступков, свободным от страсти, ведущей вслед за малым и безрадостным удовлетворением к большому смятению и постыдному раскаянию». И самое главное — Плутарх старался ни в чем не нарушать справедливости, ибо «справедливый человек высок и счастлив даже своей смертью... он оставляет по себе славу высокой нравственной доблести, какой ни оружием, ни богатством не стяжать». Пятьсот лет назад Сократ убеждал своих учеников не бояться преследований, ибо ничего действительно страшного не может случиться со справедливым человеком. И хотя наградой за правдоискательство была чаша с цикутой, ученик его Платон продолжал утверждать, что «с человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти», потому что сами боги «не перестают заботиться об его делах».

Вера в это помогала и Плутарху при любых обстоятельствах сохранять спокойное и радостное состояние духа, о чем он не раз писал: «эта вера — опора и основа всего нашего благочестия, и если она подорвана и потеряла устойчивость в чем-то, то и все становится зыбким и полным сомнений». Не знающий мучительных сомнений Еврипида, мятущиеся персонажи которого в гневе бросали богам упреки в равнодушии, не приемля учения Эпикура о неких блаженных существах, обитающих в междумириях и безразличных к людским делам, Плутарх твердо верил в божественный промысел, которым определяются все дела на земле: «Мы на каждом шагу встречаемся с человеколюбивой заботой божества, предусматривающей удовлетворение всех наших потребностей». И хотя он постоянно повторяет, насколько важно держаться веры отцов, то есть веры в традиционных богов, его собственные упования устремлены, скорее, к чему-то невидимому, единому и всемогущему, жизнетворное дыхание которого пронизывает вселенную, а не к древним обитателям Олимпа.

Плутарх был решительно против вошедшего в моду аллегорического истолкования богов, против того, чтобы видеть в них олицетворение тех или иных человеческих качеств и страстей: Афродита — это любовь, Афина — разум, Гермес — слово, Арес — «наименование буйственного, раздражительного и злобного начала в нашей природе». Сводя все к человеку, такой подход исключал, по его мнению, существование некоей высшей силы, стоящей над человеком и над всей природой. А олимпийские боги были для Плутарха, как представляется, лишь различными ипостасями этой высшей силы, одухотворившей первоначальный хаос: «Ведь бог отличен от нас во всем — и в естестве, и в движении, и в искусстве, и в мощи, и поэтому нет ничего невероятного, если он творит то, чего мы творить не в силах, и питает замыслы, для нас не постижимые... он превосходит нас своими деяниями. Однако многое из того, что касается божества, как сказано у Гераклита, ускользает от понимания по причине неверия». Для Плутарха бог — не тиран и даже не судия, для него он вместилище «доброты, великодушия, благосклонности и заботы»; эта непоколебимая вера была краеугольным камнем его собственного бытия, смысл которого он видел в оправдании той частицы Вселенского разума, которая уделена ему как человеку. И все более настойчивым становилось желание провести остаток своих дней в

непосредственном служении божеству, посвятить себя полностью размышлениям о тех взаимосвязях земного и небесного, которые, может быть, никогда не постигнуть до конца, но только на признании которых зиждется подлинно человеческая жизнь.

Отдав почти сорок лет служению городу, заботам о семье, Плутарх заслужил право на ту жизнь для себя, о которой писал когда-то Цицерон в превосходном трактате «О старости», сам так и не успев насладиться заслуженным отдыхом, внесенный в проскрипции Августа. Право на ту спокойную жизнь, проходящую в ученых занятиях, беседах и чтении, о которой мечтал Плиний Младший: «Такую жизнь предвкушаю в желаниях и раздумьях, в нее жадно войду, как только возраст позволит пробить отбой». Плутарху это было уже позволено. Он мог теперь погрузиться в лишь немногим открытый мир высшей духовности и бескорыстного умствования, в вечное царство демокритовых эйдосов (своего рода слепков со всего, когда-либо существовавшего) и Платоновых идей, мог остаться один на один со своими героями, которые со временем стали казаться ему более реальными, чем окружавшая его действительность.

Завершалась понемногу прежняя жизнь: возмужали сыновья, покинула этот мир его дорогая Тимоксена, и в их хорошо поставленном доме, где, как учил когда-то Ксенофонт, было «для всего свое место», распоряжались молодые хозяйки. Отходили в прошлое заседания в херонейском совете, где в течение многих лет Плутарх ратовал о нуждах города и старался гасить в зародыше распри и раздоры. С каждым годом становилось тяжелее путешествовать. Не хотелось даже ходить на пиры — эти исконно эллинские дружеские собрания, куда, как писал он в «Пире семи мудрецов», «человек достойный идет... не с тем, чтобы до краев наполнить себя, как пустой сосуд, а с тем, чтобы и пошутить, и всерьез поговорить, и послушать, и сказать, что подобаает случаю, лишь бы это было и другим приятно».

Зато все большим очарованием наполнялась для него родная беотийская земля — пологие склоны, старые вязы и дубы, «эпические луга и тенистые рощи, а с ними и тропы, осененные плющом и вьюнком». Платон запечатлел навеки в своих диалогах речушку Илис, «и вербену, и плавный подъем холма, поросшего мягкой травой». Так и через все писания Плутарха проходит образ оскудевшей, но бесконечно дорогой для него родины, о чем он так писал своему

римскому другу: «А я полагаю, Сосий, что для того, кто стремится к подлинному счастью, которое зависит в основном от душевного склада и образа мыслей, то, что он родился в неприметном маленьком городке, столь же несущественно, как если бы мать его была малоросла и некрасива». Уже давно невозвратно изменилась вся жизнь Эллады, с ее захиревшими городами и обезлюдевшими селениями, но для Плутарха, работавшего целыми днями над своими сочинениями, эта жизнь словно бы и не кончалась. Опять стекались в его писания празднично одетые люди на старинные празднества, великие поэты представляли на суд сограждан свои неповторимые трагедии, состязались атлеты во славу Геракла и десятки кифаредов наполняли синее пространство исторгнутыми из самой души мелодиями, которые, как верил Плутарх, были соединены навечно с музыкой небесных сфер.

Во вступлениях к жизнеописаниям Плутарх не раз писал о том, что начинает этот труд или по просьбе кого-то из друзей, или же для того, чтобы теперешнее поколение училось «науке жизни человеческой» на примере лучших людей прошлого. Но думается, что главная причина состояла в том, что для Плутарха самого было жизненно необходимо постоянно соприкасаться с прошлым, чтобы не иссякали силы воздействовать чем можно на настоящее и верить в будущее. Год за годом он работал над биографиями выдающихся людей, старясь разобраться, что же двигало ими, что составляло сущность их натуры и как эта сущность, от них самих не зависящая, повлияла и на их собственную жизнь, и на судьбу их родины. «Мы пишем не историю, а жизнеописания, — специально подчеркивает Плутарх в биографии Александра Македонского, — и не всегда в самых главных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов».

Более четырехсот лет назад честный старец Фокион, один из последних подлинно свободных афинян, «управлял лишь обломками государственного корабля». Плутарху, одному из последних эллинов, выпало поддерживать своих соотечественников уже после того, как корабль затонул. Греки доигрывали последнее действие на том театре жизни, о котором говорил своим ученикам Платон, призывая их как

можно дольше и как можно лучше играть предназначенные роли. Современники Плутарха доигрывали, не забывая «прислушиваться к подсказчику, чтобы не выйти из меры и границ свободы, данной им руководителями игр». «Если ты собьешься, — писал об этом Плутарх в „Наставлении о государственных делах“, — тебя ждет ни свист, ни смех, ни пощелкивание языков; многих уж постиг топор-головосек, судья безжалостный...»

Глава 7. Во славу бессмертного Локсия

*Для мудрого его век также долго,
как для богов — вечность.*

Луций Анней Сенека

Свои последние годы Плутарх жил в Дельфах, близ святилища Аполлона, куда с незапамятных времен устремлялись и отдельные граждане, и посланцы целых народов, чтобы спросить оракула о своей судьбе. Прожив шестьдесят лет как подобает истинному эллину, Плутарх надеялся в этом последнем пристанище совершенно отрешиться от течения жизни вокруг, в которой было уже никому ничего не исправить, и остаться, наконец, наедине с божеством в священном уголке Эллады. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что ему удалось до конца своих дней остаться тем самым мудрецом, в жизни которого (как писал об этом столь нелюбимый им Эпикур) случай не играет решающей роли и все в ней устраивает разум. Канули в прошлое те времена, когда неистовый в своей ненависти афинянин Демосфен объезжал города, поднимая греков на последнюю битву с македонцами. Теперь было некому и не с кем воевать, и единственное, что мог противопоставить Плутарх неумолимости истории, так это надежду на милость божества и неискоренимую любовь к отчизне. Неподвластный жажде денег и стремлению властвовать, следуя примеру философов прошлого, он навсегда покидает городское многолюдство, как покинул его в свое время Гераклит, чтобы ничто не мешало ему слушать в тысячезвездной азийской ночи голос вселенского Логоса. Плутарх отправляется в Дельфы служить Аполлону, по всей вероятности, азийскому богу, доставшемуся грекам от людей, которые обитали здесь задолго до них, и включенному ими в семью олимпийцев. Аполлон был покровителем музыкантов и поэтов, ему подчинялись Музы. В ниспосланном богом экстазе поэты порой казались безумными. И лишь немногим, таким, как Платон, слышался в их смутных речениях голос самого Аполлона: «Потому-то бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, вещателями и божественными прорицателями, чтобы мы, слушатели, знали, что это

не они, у кого и рассудка-то нет, говорят такие ценные вещи, а говорит сам бог и через них подает нам голос».

Устами старухи-пифии, надышавшейся серными парами, Аполлон открывал смертным будущее и долгое время был главным советчиком греков и прибывающих из Малой Азии. «Прорицательница в Дельфах, — писал об этом Платон, — в исступлении сделала много хорошего для Эллады, и отдельным людям, и целым народам». Так было во время нашествия персов, когда афинянин Фемистокл, верно истолковав слова оракула о спасительных деревянных стенах, посадил свой народ на корабли и вывез на острова, оставив врагу пустой город. Спартанскому царю Леониду было предсказано, что смертью своей спасет он Элладу, и эти слова сбылись в Фермопильском ущелье, где он преградил со своими тремястами воинами путь варварским полчищам. Пифия оказалась права и когда на вопрос Софрониска, каменотеса из Афин, как ему следует воспитывать сына, ответила: предоставь ребенку быть таким, как он есть. Этим сыном был мудрейший из греков, ни на кого не похожий Сократ.

Речения пифии были двусмысленны, и чтобы понять их правильно, следовало прежде всего отрешиться от самообольщения. И тогда для злосчастного Креза, властителя Лидии, стало бы ясно, что в войне, об исходе которой он спрашивал, он погубит собственное царство. А римлянин Марк Туллий Цицерон, также вопрошавший оракула о собственной судьбе, догадался бы, что для него будет безопаснее и лучше предпочесть философию политике. В течение многих веков устремлялись сюда вопрошающие, пока постепенно вся их общая жизнь подошла к такому рубежу, что, как оказалось, спрашивать больше не о чем, да и знать ни о чем не хотелось.

Мир становился все более недоброжелательным к грекам, но грозный Локсий все еще продолжал охранять свои владения. Четыре столетия назад в Грецию вторглись кельты, неся с собой гибель и смерть. Их полчища под предводительством Бренна уже подступили к дельфийскому святилищу, когда вдруг затряслась земля, налетел ураган, а потом среди лета пошел сильный снег. Сохранилось предание, что на варваров катились с Парнаса огромные глыбы. Был смертельно ранен Бренн, кельты бежали из Дельф, а жрецы, уже не чаявшие остаться в живых, устремили молитвенные рыдания к всемогущему Локсию.

Но потом подошли времена еще более страшные, и сам Аполлон оказался бессилён перед подступавшим со всех сторон запустением. Остались лишь воспоминания о хранимых здесь когда-то богатствах: о великолепных серебряных сосудах, пожертвованных Крезом, или же о статуе человека из золота, в 12 локтей высотой, с корабельным носом в руках, которую прислали в Дельфы греки после победы над персами. Опустели сокровищницы отдельных городов, были разграблены дары самому Аполлону, причем последние из них пропали совсем недавно, во время смуты после смерти Нерона. Остались только надписи: «Брасид и акантийцы прислали в дар добычу, отнятую у афинян» — еще одна страница из истории самоубийственного соперничества городов Эллады. И только отдельные, чудом сохранившиеся вещи, вроде золотого кратера, присланного римлянами после победы над галлами пятьсот лет назад, свидетельствовали о том, что все это действительно было — и сила, и богатство, и слава.

Впрочем, от славы кое-что еще оставалось. Оставались высокие горы, между которыми ветшали храмы и маленькие здания — жилища для жрецов и приезжающих, которых становилось все меньше. Оставались изображения выдающихся воителей прошлого: Арата, Филопемена, Лисандра, «по старинному обычаю с длинными волосами и бородою». Навсегда отошли в прошлое дельфийские празднества, на которые съезжались когда-то со всех городов и земель, хотя при последних императорах Дельфы, как и другие святилища Греции, могли рассчитывать на их покровительство. Но над всем этим запустением, над старыми строениями, на стенах которых были высечены изречения так никого и ничему не научивших мудрецов, еще реял дух прежней Эллады. Здесь еще ощущалось биение ее древнего сердца, и попадающих в эти места даже многие века спустя вдруг охватывало невыразимое чувство прикосновения к чему-то вечному и непреходящему.

Плутарх был принят в коллегию жрецов и пробыл в этом звании до последних дней жизни: «Ты знаешь, — писал он одному из друзей, — что я в продолжении многих пифиад служу Аполлону Пифийскому; однако не скажешь: Довольно тебе, Плутарх, приносить жертвы, участвовать в религиозных церемониях и хорах, теперь ты в преклонных летах — пора снять венок и оставить прорицалище по причине старости». Жреческое служение было для Плутарха как бы

продолжением его былой общественной деятельности, связанной, как уже не раз говорилось, с вещами самыми житейскими: «Теперь, когда в Греции утвердился мир и покой, нет ни войн, ни гражданских смут, никто особенно не нуждается в оракуле, разве что спросит об обыденном: Стоит ли жениться? Стоит ли путешествовать? Стоит ли тратить деньги?» Но он продолжал истово славить древнего бога столь же древними гимнами, надеясь хотя бы этим как-то помочь любимой Элладе.

Все говорит о том, что Плутарх был глубоко религиозным человеком. Именно вера придавала прозрачную ясность его писаниям и именно на ней зиждилась его достойная подражания жизнь. Душа его, умудренная горестным опытом эллинского племени, не знала той борьбы с дерзновенным разумом, которая сделала невозможным душевный покой для многих философов прошлого. Не зная за собой прегрешений против мировой справедливости, всю жизнь стремясь делать добро и добру же уча, он мог быть спокоен. Он продолжал старательно следовать религии предков, но в его представлении все олимпийские боги: Зевс, Аполлон, Афродита, Эрос, Арей — были подвластны Вселенскому разуму, первопричине всего сущего. Именно Разум преобразовал в Космос хаос первоначальной материи, создал наш мир, который, как писал Плутарх в одном из своих сочинений, погибнет и угаснет, «когда мощное желание бога покинет материю и она перестанет искать и черпать в нем начало и движение».

С презрительным равнодушием истинного эллина он отвергал все другие религии, в том числе и распространявшееся понемногу христианство, считая их лишь варварскими суевериями. Он словно бы ничего не знал об усиливающемся увлечении восточными культами. И если в своих сочинениях он иногда касается этого предмета, то делает это с тем безгловым удивлением, с каким рассказывают путешественники об обычаях и нравах дикарей. Исключение для Плутарха составляла, как уже говорилось, религия египтян, то ли потому, что его привлекало все древнее, первоначальное, то ли он был склонен согласиться с Геродотом в том, что начало греческой культуры каким-то образом связано с египетским влиянием.

Впрочем, божества фараоновых времен, Осирис, Изида, Гор и другие, для него прежде всего философские символы. Такими они предстают в сочинении «Об Изиде и Осирисе», написанном для

дочери его друга Клеи: Осирис — первопричина всего, по сути, тот же Вселенский разум или Мировая душа, Изида — то, что приемлет воздействие духовной субстанции, а Гор — производное от этого сочетания. Плутарх с удовольствием объясняет Клее сокровенное значение религиозных представлений египтян, словно возвращаясь на время в тот желто-синий палящий полдень, когда перед ним, еще молодым, преисполненным восхищения огромным миром, вдруг открылась среди однообразия песков ступенчатая, источенная временем пирамида.

Утверждая благую роль божества, Плутарх с неизбежностью должен был ответить на вопрос, который задавало и до, и после него столько людей, приходящих в отчаяние от жестокости этого мира: если бог милосерд и справедлив, то почему же вокруг столько крови и слез? И служитель Аполлона так отвечает на этот вопрос из вопросов, готовый скорее умалить власть Вселенского разума, чем возложить на него ответственность за зло: «Бог не всем владеет в мире, но многое нужно приписать случаю или необходимости». Как в представлении персов власть над миром вечно оспаривают Ормузд — свет и Ариман — тьма, как у Эмпедокла жизнь — это нескончаемое противоборство Любви и Вражды, так и Плутарх допускает, наряду с той душой, что рождает из хаоса гармонию, злую душу вселенной, причину разрушения и несправедливости.

Вслед за богами в иерархии небесных сил у Плутарха стоят, как он писал в трактате «О демоне Сократа», некие высшие существа — демоны (даймоны), своего рода посредники между миром видимым и невидимым. Их задача — помогать смертным постигнуть предназначения Вселенского разума: «Мысли демонов сияют своим светом тому, кто может видеть и не нуждается в речах и именах, пользуясь которыми как символами в своем взаимном общении, люди видят образы и подобие мыслей, но самих мыслей не познают — за исключением тех людей, которым присущ какой-то особенный, божественный свет». Одним из таких людей был, по мнению Плутарха, Сократ, которому его даймон открывал истинный смысл вещей и явлений. Впрочем, это мало чем помогло и самому сыну Софрониска, и вразумляемым им соотечественникам.

Боги помогают не всем, но только наиболее достойным — так отвечает Плутарх и на другой вопрос, который чаще всего задают

сомневающиеся: если бог есть, то почему же он глух к страданиям смертных? «Боги украшают жизнь только немногих людей, — пишет он, ссылаясь на Гесиода, — тех, кого они пожелают сделать поистине блаженными и сопричастными божественности». Именно души таких людей, после того как утратят связь с телом, становятся демонами — хранителями. Демоны, в свою очередь, тоже пекутся лишь о лучших: «Подобно тому, как любитель лошадей не всем своим лошадям уделяет равную заботу, но, выбрав среди них лучшую, упражняет, и кормит, и опекает особо, — прибегает Плутарх, как обычно, к простому житейскому сравнению, — так и существа, стоящие выше нас, отмечают из множества людей лучших и удостоивают их особого усиленного руководства, направляя их не уздой и поводями, а знаниями, воспринимаемыми разумом». Об этом же писал и Сенека: «Ведь бог близ тебя, с тобою, в тебе... в нас заключен некий божественный дух, наблюдатель и страж всего хорошего и дурного, и как мы с ним обращаемся, так и он с нами». Но ни Плутарх, ни Сенека, как и многие мудрые до них, так и не смогли объяснить, почему же обычно побеждают худшие и злые, а не добродетельные и справедливые? Они так и не нашли ответа на этот вопрос, но, не усомнившись в благом начале мира, возлагали ответственность за зло прежде всего на самого человека...

Среди сочинений, написанных Плутархом в Дельфах, диалоги «О позднем возмездии божества» и «О любви», в которых он размышляет о сущности древних богов и спасительной силе веры. Особенно часто он обращается к Эроту как к главнейшему из богов, которого египтяне считали сродни солнцу и под воздействием которого «душа быстро приходит к дружбе и добродетели, как бы несомая на волне страсти вместе с богом». Чем дальше шли его годы, тем очевиднее становилось для Плутарха, что именно Любовь — любовь к избранной женщине, к родителям, к детям, к людям вообще есть та основа, на которой зиждется мир, и, может быть, даже его конечная цель. Не говоря уже о том, что Эрот, который считался посредником между миром земным и небесным, пробуждает «прекрасные и священные воспоминания об истинной родине человеческих душ», в которую, следуя Платону, хотел верить и Плутарх: «Подобно тому, как геометры, обращаясь к ученикам, еще не способным представить себе умопостигаемые предметы, показывают им осязаемые и зримые,

воспроизведенные подобия шаров, кубов, додекаэдров, так и небесный Эрот, изоцряясь в очертаниях, красках и формах, показывает нам в блистающих молодостью образах отражения прекрасного... и так постепенно пробуждает нашу разгорающуюся память».

Последние годы Плутарха пришлись на спокойные времена, когда в Риме и провинциях воцарились наконец-то долгожданный мир и порядок. Император Траян продолжал укреплять государство, прижавшееся, по словам Плиния Младшего, к его мужественной груди. Еще недавно казалось, что Риму уже никогда не увидеть не бутафорские триумфальные колесницы, но подлинное, напоминающее о прежней славе «триумфальное шествие, загруженное не награбленным в провинциях и не исторгнутым у союзников золотом, но оружием, отнятым у варваров». Когда после пятилетнего сопротивления покончил с собой Децебал и Дакия, превращенная в провинцию, стала заселяться колонистами из Анатолии, на северо-восточных границах империи надолго установилось затишье. На новом форуме в Риме, между Капитолием и Квириналом, была воздвигнута колонна, украшенная рельефными изображениями поверженных даков, а взоры Траяна обратились на восток, туда, где за уже покоренными землями персов и парфян лежали какие-то неведомые золотообильные страны. Куда так и не дошел Александр, потерявший в этом последнем походе три четверти войска. Знаки римских легионов снова запестрели на азийских равнинах: в 114 году была занята и объявлена провинцией Армения, в следующем году, несмотря на страшное землетрясение, император повелел строить флот на Евфрате для последующего покорения Месопотамии.

Оживала и Италия. Восстанавливались дороги, пришедшие в негодность при последних Клавдиях, и вновь товары из самых разных мест стали появляться на рынках даже не очень больших городов. В самом Риме дети из неимущих семей ежемесячно получали пособие, к раздачам хлеба для нескольких тысяч бедняков Траян велел добавить масло и вино. И вот уже Плиний Младший с воодушевлением пишет о том, как обживаются снова выморочные имения (хозяева многих из них были искоренены Тиберием, Нероном, Домицианом), как «на места прежних знатных господ в их гнезда поселяются новые хозяева, и убежища славнейших мужей уже не представляют собой печального зрелища».

Он пишет об этом с радостью, как и о других признаках возрождения Италии, словно не понимая или же не желая понимать, что это была уже другая Италия, так же как становился другим Рим, где от прежнего скоро останутся только памятные арки и колонны. Все больше становилось людей, понаехавших из восточных и западных провинций, на них в основном делали ставку последние императоры, стремясь «стягивать лучшие силы отовсюду». При этом они ссылались на то, что уже Ромул при основании Вечного города «отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях сначала врагов, потом граждан».

При Траяне высокие государственные должности все чаще занимали способные или же просто богатые люди из Ахайи, Египта, северной Африки и Анатолии. Воспрянувшие духом провинциалы не уставали благодарить богов за то, что судьба им послала, наконец, рачительного и справедливого хозяина, не разнузданного деспота или полоумного царька, а подлинного императора, возрождающего своими делами первоначальное, столько раз оскверненное и униженное значение этого слова. Плутарху, как и Плинию Младшему, представляются особенно достойными похвалы усилия Траяна по укреплению империи, превращению ее в единый жизнеспособный организм, для чего он даже «кормит и спасает отрезанные... морями племена как неотъемлемую часть римского народа». Плутарх надеялся прежде всего на дальнейшие благоприятные изменения для греков, и для этого, казалось, имелись основания. Сам он был отмечен особой благосклонностью Траяна, который посещал его лекции по философии в Риме и тогда уже проникся глубоким уважением к ученому и возвышенному духом беотийцу. Став императором, он пожаловал Плутарху звание консуляра и предписал местникам Ахайи прибегать к его советам в делах особой важности.

Сохранилось сочинение Плутарха «О царях и военачальниках» со следующим посвящением: «Плутарх Траяну, высочайшему монарху, с пожеланием успеха и благополучия». Этот труд, представляющий собой ряд небольших биографий, он сравнивает с теми первинами простых сельских плодов, которые подносили в старину своим богам спартанцы, и выражает надежду на понимание и милость императора. Рассказывая о выдающихся правителях и военачальниках различных времен и народов, о персидских и скифских царях, сицилийских

тиранах и беотийских стратегах, Плутарх, как обычно, приводит их достопамятные афоризмы, вроде следующего, принадлежащего якобы Ксерксу: «Не имеет права управлять тот человек, который не является лучшим, чем народ, которым он управляет». Он припоминает меткие сравнения, дошедшие сквозь толщу веков, поучительные эпизоды из жизни людей, чьими свершениями был размечен, как придорожными вехами, долгий путь от египетских фараонов до римских императоров. Он надеется, что новый император, «украшенный истинной и прочной славой, принесший всеобщий мир», учтет и успехи, и промахи своих предшественников у кормила государственной власти или хотя бы немного развлечется чтением этого сочинения среди государственных трудов. Чуждый верноподданнического пиетета, он обращается к Траяну с простодушной сердечностью благожелательного учителя. И даже если Плутарх был действительно удостоен каких-то особых императорских милостей, он вряд ли ими пользовался: дела божественные интересовали его все больше, чем государственные, а убывающих сил хватало только на тот огромный труд, который остался нетленным памятником всему их уходящему миру.

Уважение, проявленное к Плутарху императором (а если к нему, то значит и к Греции, лишь частицей которой он себя мыслил), было для него еще одним подтверждением того, что судьбы греков и римлян сплелись нерасторжимо. Он понимал, и эта главная мысль проходит через все его творчество, что в случае опасности грекам неоткуда ждать помощи, кроме как из Рима. Ужасные события в Кирене, Египте и на Кипре служили тому доказательством. По прошествии пятидесяти лет после разрушения иерусалимского храма восстали иудеи и попытались изгнать греков и римлян из некоторых восточных городов. Испытывая особую неприязнь к грекам как людям иного склада мыслей, непонятных им нравов и обычаев, мстя за исконное пренебрежение к их племени, иудеи только за несколько дней уничтожили 220 тысяч эллинов в Кирене и 240 тысяч на Кипре. Как писал об этом историк Аппиан, уроженец Александрии, сам едва спасшийся от гибели, восставшие подвергали греков мучительным истязаниям, заставляли их сражаться друг с другом как гладиаторов. Траян послал флот во главе с Квинтом Марцием Турбоном, восстание было подавлено. Александрийские нудей были почти все перебиты, а на Кипре был издан указ, согласно которому ни один из иудеев не имел

права ступить на этот остров, даже если его вынесет после кораблекрушения.

Слушая эти страшные вести, доходившие и до Дельф, Плутарх вновь и вновь возвращался к горьким мыслям о том, как же низко они пали. О том, как жалки и бессильны стали греки, если всего за несколько дней было уничтожено около пятисот их тысяч, просто вырезано теми, о которых еще во времена Эпаминода никто и слышать не слыхал, а если и слыхал, то знать о них ничего не хотел. Сокрушившие шесть столетий назад мидийские полчища, греки оказались теперь совершенно беспомощными перед горсткой таких же восточных людей, зверствующих в своей вековой ненависти к эллинам. И эти пятьсот тысяч могли оказаться только началом, если, прорвав цепь траяновых укреплений, другие, еще более дикие и свирепые полчища вторгнутся в Грецию, сея ужас и смерть. Может быть, как и большинство других греков, Плутарх предпочитал не заглядывать в будущее, надеясь, что стены их мира все-таки выдержат, говоря словами Тита Лукреция Кара, натиск окружающей вселенной — неизвестно сколь обширной, исторгающей из себя все новые варварские племена. Всю свою страстную веру в конечную разумность бытия, все надежду на то, что его собственному народу еще отпущены какие-то сроки, вкладывал престарелый служитель Аполлона и в древние гимны в святилище, и в свои бессмертные писания — самое угодное божеству из всего, что он создал.

Теперь, когда, по словам Плиния Младшего, можно было «безопасно выражать свои чувства», воспрянула и литература. Тот же Плиний пишет о «большом урожае поэтов» в Риме и радуется «оживлению литературной деятельности и выступлениям талантливых людей». Однако в большинстве своем это были легковесные безделицы, сочинением которых разнообразили свой досуг образованные римляне. Поэтические мотыльки-однодневки, в которых «можно излить любовь, ненависть, гнев, сострадание, можно острить, вообще говорить обо всем, что бывает в жизни», скользя по поверхности восприятия слушателей. Вот обычная картина таких поэтических выступлений: «Слушатели собираются лениво. Большинство сидят в портиках, тратят время на болтовню... собираются медленно, с задержками, и уходят, не дождавшись конца, — одни тайком и прячась, а другие — свободно, без стеснения».

Несколько больший интерес вызывали исторические сочинения. Друзья присылали Плутарху из Рима наиболее известные из них, например, труд Г. Фаннесия о последних днях людей, убитых или сосланных Нероном. Звезда Корнелия Тацита, воссоздавшего в своих «Анналах» и двенадцати книгах «Истории» всю римскую жизнь за истекшее столетие, еще только восходила. Беспристрастный судья своего времени, свидетель вырождения римлян, в которых уже трудно было признать потомков победителей пунийцев, Тацит восхищался жизненной силой германцев и связывал будущее империи с западными провинциями, а не с презируемым им востоком. Прослеживая во всех жутких и омерзительных подробностях переход от «золотого века» Августа к кровавой тирании его преемников, Тацит создал галерею столь выразительных императорских портретов, что время оказалось не в состоянии добавить к ним ни единого штриха. Как и Плутарху, история представлялась Тациту в значительной степени как следствие пороков, ошибок и преступлений людей, вознесенных судьбой на вершину людской пирамиды, а также того закона, в силу которого лучшая, не столь уж и маленькая часть человечества почему-то обычно проигрывает худшей, о чем писал когда-то Фукидид. Но если Фукидид, а затем и Полибий все же надеялись выявить закономерности общественной и государственной жизни, то автор «Анналов» и «Германии», как представляется, от этих попыток отказался.

В отличие от Полибия, влияние которого так ощутимо в его сравнительных жизнеописаниях, Плутарх нигде не излагает прямо свое понимание истории. Однако через биографии стратегов, политиков и императоров, которых Плутарх выстраивает пара за парой, отчетливо просматривается полибиева схема смены форм правления. А высказывания вроде того, что ахейского стратега Филопемена Греция родила уже в старости, говорят о том, что жизнь каждого народа была для Плутарха подобна жизни любого организма — с рождением, молодостью, зрелым плодоношением и старостью. Он понимал, в какую пору греческой истории ему выпало жить, и трудно сказать, надеялся ли он, что его Греция когда-нибудь воспрянет, возродится, словно Феникс, и на тысячелетних корнях распустятся снова пышные цветы образованности и культуры...

Проживая век за веком долгий путь эллинов и римлян, Плутарх старался отыскать такие времена, когда жизнь можно было бы назвать разумной, справедливой и спокойной, но повсюду видел только насилие и кровь, ожесточенную борьбу за золото и власть. И если, как хотелось ему верить, на греческой земле существовало все-таки «благозаконие», то это было очень давно, лет за шестьсот — семьсот до него, когда окрестные варвары еще не тревожили Элладу, а ее люди, свободные земледельцы, ремесленники и моряки, еще уважали те высшие, не смертными данные законы, к которым взывали Гесиод, Эсхил и Софокл.

Презрение к установлениям предков, алчность, ненасытная жажда удовольствий и главное — ожесточенная борьба между богатыми и бедными, между знатными и худородными — вот что подточило, по мнению Плутарха, старинное благозаконие и вместе с ним греческую свободу. И каждый из выдающихся людей времен самоубийственных распрей, будь он афинянин, фиванец или же спартанец, приближал своими военными и политическими амбициями их общий конец. Плутарх выводит целый ряд таких людей: афинянин Алкивиад, спартанцы Лисандр и Агиселай, фиванцы Эпаминод и Пелопид. Одни из них откровенно презирали традиционные устои предков, другие выступали как будто бы их защитниками. Различная молва осталась о них в истории, но все они казались людьми необыкновенными по сравнению с современниками Плутарха, лишенными самого главного — энергии и способности к великим делам.

Историю свободных Афин дописывали антигерои, такие как блистательный Алкивиад, человек незаурядных способностей и вошедшей в предания красоты. Он был последней надеждой афинян, находившихся на грани катастрофы, и, конечно же, не смог ее предотвратить. Даже дружба с Сократом не наложила ни малейшего отпечатка на пустую душу этого обуреваемого страстями человека, ничего не чтящего и не боящегося. Сподвигнув афинян на их последнюю авантюру — завоевание Сицилии, окончившуюся сокрушительным поражением, Алкивиад ушел из жизни, убитый фригийскими варварами: «никто не посмел вступить с ним в рукопашный бой; встав вдаль, они забросали его копьями и стрелами».

Полной противоположностью ему был спартанский военачальник Лисандр, до того ненавидевший демократов-демагогов, что лично

присутствовал при их казнях после взятия Афин. Лисандр, которого нельзя было ни соблазнить, ни подкупить, славился тем, что «имея в руках такую власть и такие средства, не взял ни обола на украшение собственного дома» и был чужд «всяким радостям, кроме тех, какие получает человек, окруженный почетом за совершенные им прекрасные деяния». Такие люди, как он, продлили сроки свободной Спарты, но и они, в конце концов, были вынуждены уступить стяжателям последних времен. И в то же время именно Лисандр, как считает Плутарх, был виновником новой междоусобной войны, теперь между Спартой и Фивами, — еще один шаг в самоуничтожении Эллады. И здесь, не чуждаясь никаких уловок и обмана на пути к намеченной цели, он действовал скорее как «лукавый софист», чем спартанский полководец, следующий примеру своих выдающихся предшественников. «Когда ему говорили, — пишет Плутарх, — что потомкам Геракла не подобает добывать победу при помощи хитрости, он отвечал: где львиная шкура коротка, там надобно подшить лисью».

Ничто не считали недостойным, если это было на пользу государству, и другие спартанские цари последних веков свободной Эллады. Однако все больший отход от прошлого уклада, от прославленной прямоты и честности спартанцев во всяком деле также не приносил успеха. За пятьсот лет до Плутарха царь Агиселай похвалялся тем, что еще ни одна лакедемонская женщина не видела на своей земле вражеского лагеря, но очень скоро им пришлось увидеть это. Агиселай был одним из последних спартанских царей, живших лишь ради родины, которая, по словам Плутарха, была для него весь белый свет и самая жизнь. Ему было за восемьдесят, когда он отправился с отрядом молодых спартиатов в Египет — немного заработать в качестве наемников для впавшего в нужду государства, заплатить хотя бы учителям, и умер по дороге домой, не доплыв до родных берегов. Вскоре после этого, вслед за другими греческими городами, пошатнулось и былое величие Спарты.

Размышляя о причинах ее ослабления, Плутарх видел главную из них в отходе от былой умеренности и равенства: захватив богатую добычу после победы над афинянами в Пелопоннесской войне, спартанцы, и прежде всего их женщины, также познали вкус золота и навсегда отринули спасительную суровость ликурговых законов. Тогда

говорили, что во всей Греции нельзя было найти столько золота и серебра, сколько было его в Спарте, — и это явилось началом ее конца.

Другую причину Плутарх видел в пагубном честолюбии царей и стратегов, стремящихся к расширению своего влияния в Греции и подчинению соседних городов, в то время как, например, спартанцы раньше только в крайних случаях покидали свои пределы, опасаясь восстания илотов: «Как случается со здоровым телом, которое приучено к постоянному и строжайшему режиму, так случилось и с государством, — размышляет Плутарх о гибели Спарты, — чтобы погубить все его благополучие, оказалось достаточным одной лишь ошибки, одного лишь колебания весов. Иначе и быть не могло, ибо с государственным устройством, наилучшим образом приспособленным для мира, единомыслия и добродетели, пытались соединить насильственную власть и господство над другими — то, что Ликург считал совершенно ненужным для счастья и процветания города. Это и привело Спарту к упадку».

И действительно, не прошло и ста лет после того, как в Спарте начали торговать землей, которая раньше была общим достоянием, как рухнула не знавшая поражений «община равных», чтобы больше никогда не возродиться.

Среди выдающихся людей периода наибольшего влияния Лакедемона Плутарх выделяет беотийских военачальников Эпаминода и Пелопида, которые первыми среди греков отважились воспротивиться самовластью спартанцев. Его особенное восхищение всегда вызывал Эпаминод, «муж, знаменитый своей образованностью и познаниями в философии, отличавшийся справедливостью и мужеством». В присутствии посольств из всех греческих городов, собравшихся в Лакедемоне для обсуждения условий мира после тридцатилетней войны с Афинами, Эпаминод, косвенно выступая против гегемонии Спарты, прямо заявил о том, что заключаемый мир должен быть основан на справедливости и равенстве всех греков.

Казалось бы, все устремления Эпаминода, так же как его друга Пелопида, вождя фиванских демократов, были направлены на прекращение внутренних греческих распрей, однако, в силу какого-то страшного закона, так и оставшегося непонятным для Плутарха, они также продолжали проливать кровь единоплеменников. И этого братоубийства не могли перевесить ни приверженность дедовским

обычаям, ни любовь к отечеству, ни вошедшее в предание бескорыстие: «Эпаминода фиванцы похоронили на общественный счет — в такой бедности он скончался (говорят, что в доме умершего не нашли ничего, кроме железного вертела)».

Греки сами обескровили себя перед лицом набирающих силу македонских царей — не раз повторяет Плутарх. «О, скольких тяжких бед вы, эллины, виной! — вспоминает он в связи с этим строку из „Троянок“ Еврипида и продолжает — Ибо каким еще словом можно назвать эту зависть, эти объединенные и вооруженные приготовления греков для борьбы с греками же — все то, чем они сами отвратили уже склонившееся на их сторону счастье, обернув оружие, направленное против варваров, и войну, ведущуюся вдали от Греции, против самих себя?..»

И опять, проследившая десятилетие за десятилетием горестное вырождение сначала греческих полисов, а затем и римской республики, Плутарх вновь обращается к вопросу о том, кто же в этом виноват — в разрушении традиций и морали, в подрыве подлинного народовластия и последующем упадке? В чем причина того, что, казалось бы, самые благие начинания неумолимо оборачиваются в свою противоположность? И хотя на этот вопрос давно уже ответил Гераклит, утверждавший, что именно война, которая одних делает рабами, а других господами, есть всеобщий закон и высшая справедливость, Плутарх, как представляется, не хотел признавать этот закон как фатальную предопределенность. Вслед за Фукидидом он обращается к более конкретной причине общественных зол — к несовершенству самой природы человека, к его злобе, зависти и алчности, неискоренимому стремлению к господству. Однако в отличие от Фукидида, который уже не надеялся изменить к лучшему человеческую природу, Плутарху хотелось верить в возможность самосовершенствования человека и благодаря этому — упорядочение общественной жизни.

В жизнеописаниях Плутарха не чувствуется ни гнева, ни возмущения или какого-то иного сильного чувства, каким пронизаны сочинения Фукидида, свидетеля надлома Эллады, и даже Сенеки и Корнелия Тацита, современников Плутарха. Осуждающий Эпикура за его учение об атараксии — беспристрастности самодостаточной личности, над которой не властно несовершенство бытия, Плутарх, по

существо, именно с этих позиций воссоздает весь пройденный путь эллинов и римлян. Он не страждет и не возмущается, все уже отболело и отмерло. Для него нет ни абсолютных героев, ни абсолютных злодеев, он, в сущности, жалеет даже тех, которых осуждает, — все эти многочисленные жертвы собственного неразумия и разрушительных страстей. Ведь их наказание таится в них самих и они мучаются, так, как Гай Марий, плебейский диктатор последнего века Римской республики, для Плутарха, убежденного противника «плебейской демократии», фигура безусловно отрицательная: Марий «оплакивал свою судьбу, посылающую смерть прежде, чем он достиг всего, чего желал. А вот Платон, умирая, восхвалял своего гения и свою судьбу за то, что, во-первых, родился человеком, во-вторых, эллином, а не варваром и не бессловесным животным, а также за то, что жить ему пришлось во времена Сократа».

Описывая одного за другим тех, что «думали лишь о себе»: афинянина Алкивиада, римлян Луция Корнелия Суллу, Марка Красса, Гая Юлия Цезаря, их херонейский биограф не удивляется тому, что такого рода людей становилось все больше «при полной развращенности народа и болезненном расстройстве государственной жизни». Распад прежнего римского мира, с его суровым благозаконием, напоминающим спартанское, породил или диктаторов, пытающихся железной рукой поставить на ноги пошатнувшееся государство, или же таких, которые стремились бежать из него, как претор Квинт Серторий, предпринявший попытку отложиться от Рима, опираясь на местное население Испании.

При всей его многословности, обилии приводимых фактов и высказываний, у Плутарха всегда отыщется фраза, заключающая в себе самое главное. Так, основную причину отступничества Сертория Плутарх видел в том, что этому незаурядному человеку с «возвышенным нравом» однажды захотелось совершенно переменить свою жизнь. Возвратившиеся из-за Геркулесовых столбов моряки рассказали ему о лежащих на западе прекрасных островах: «Редко выпадает там весьма умеренный дождь. Частые, мягкие, приносящие влагу ветры заменяют его и делают почву не только пригодной для посевов и посадок, но и производят дикорастущие богатые и вкусные плоды, которыми жители без труда и каких-либо усилий питаются в достаточной степени... так что варвары пришли к убеждению, что

здесь-то и находятся Елисейские поля и еще Гомером воспетое местопребывание блаженных». «Когда Серторий услышал этот рассказ, — повествует дальше Плутарх, — у него родилось страстное желание поселиться на этих блаженных островах и жить там безмятежно, не ведая ни тирании, ни бесконечных войн». До островов Серторий не добрался, не преуспел также в стремлении обособиться от Рима и «умер под ударами множества заговорщиков».

Преломивший через свой разум и душу тысячелетний путь греков и римлян, Плутарх хорошо понимал, что в жизни общества бывают такие времена, когда единовластие является единственным спасением, но в то же время не считал, «что когда дела в государстве так плохи, стать первым — значит быть лучшим». Таким лучшим для него никогда бы не мог стать Сулла, еще один диктатор доживающей свои сроки республики, и прежде всего потому, что этот нобиль из старинного рода учинил резню в Афинах за союз с понтийским царем Митридатом. Его войско вступило в город Паллады в полночь, под рев рогов и победные клики солдат. Получив разрешение грабить и убивать, они с обнаженными мечами носились по узким улочкам. «Убитых не считали, — пишет Плутарх в биографии Суллы, — и вплоть до сего дня лишь по огромному пространству, залитому тогда кровью, судят об их множестве... многие говорят, что кровь вытекла за ворота и затопила пригород». И все же, верный своему принципу — быть справедливым ко всем, Плутарх отмечает как достойное всяческой похвалы то, что Сулла не лишил афинян самоуправления.

Среди государственных деятелей последнего века республиканского Рима Плутарх видел и таких, которые не только сохранили мужество и стремление служить отечеству, «пораженному недугом, но еще свободному», но даже отсрочили на какое-то время падение республики, хотя и их манило высшее из искушений — власть.

Таким Плутарху виделись аристократы Луций Лукулл, известный военачальник времен войны с Митридатом, а также Гней Помпей, которого он считал последним выдающимся последователем старинного благозакония. К Лукуллу у Плутарха было особое отношение, как и ко всем тем, которые оказали хоть какое-то покровительство его родной Херонее. В жизнеописании Лукулла он с присущей ему обстоятельностью останавливается на том, как тот,

проходя со своим войском через Беотию, засвидетельствовал невиновность херонейцев в возбужденном против них процессе по убийству нескольких римлян, и отвратил таким образом от их города серьезную опасность. «Тогдашние граждане Херонеи, которых благодеяние Лукулла коснулось непосредственно, поставили ему на площади, подле кумира Диониса, мраморную статую. Нас от тех времен отделяет много поколений, но мы считаем, что долг благодарности Лукуллу распространяется и на нас», — подчеркивает Плутарх общий настрой биографии благородного римлянина, которого он сопоставляет, по мужеству и великодушию, с легендарным афинским полководцем Кимоном — одной из самых блистательных фигур «золотого века нравственности».

Бескорыстие, неустанные заботы о благополучии отечества и безопасности сограждан — за эти качества Плутарх ценил победителя понтийского царя Митридата Гнея Помпея, которого и римский народ уважал за «умеренный образ жизни, любовь к военным упражнениям, убедительность в речах, честный характер, приветливое обращение». Он подчеркивает человеколюбие Помпея, даже по отношению к пиратам и преступникам: «Помпей исходил из убеждения, что по природе своей человек никогда не был и не является диким, необузданным существом, но что он портится, предаваясь пороку вопреки своему естеству, мирные же обычаи и перемена образа жизни и местожительства облагораживают его. Поэтому Помпей решил переселить этих людей (пиратов) в местность, находящуюся вдали от моря, дать им возможность использовать прелести добродетельной жизни и приучить жить в городах и обрабатывать землю».

Глубокая приверженность к афинскому полисному укладу соловых или же аристидовых времен сочеталась у Плутарха с трезвым осознанием целесообразности единовластия в тяжелые для каждого народа времена. Этим определяется его отношение к Цезарю, положившему конец Римской республике и тем самым, как оказалось впоследствии, продлившему сроки могущества Рима, который тогда «казался подобным судну с отчаявшимися кормчими, носящемуся по волнам и брошенному на произвол слепого случая». Для Плутарха было очевидно, что Цезарь, при всех его необыкновенных дарованиях, не был общественным деятелем, подобным Сципиону или же Периклу, но он появляется на просцениуме большой политики именно в то

время, когда почти всем было ясно, что «римскому государству из-за полного расстройств в делах правления необходимо единовластие».

Плутарха приводили в изумление поистине нечеловеческие силы таких людей, как Цезарь или же Александр Македонский, которых он сопоставляет в своих писаниях, тот запас внутренней энергии, немислимый в его время, благодаря которому они приводили в движение целые государства и народы. И хотя именно Цезарь положил конец республиканским установлениям, за чем последовал окончательный упадок традиционной морали и обычаев, он не вызывает у Плутарха того как бы отстраненного отвращения, с которым он описывает безумные деяния других ниспровергателей старинного благозакония. Он даже считает нужным объяснить читателю, что «власть Цезаря лишь при возникновении своем доставила противникам немало горя, но для тех, кто принял ее и смирился, сохраняла лишь имя и видимость неограниченного господства и ни в одном жестоком, тираническом поступке виновна не была». Ему хотелось в это верить, так как жестокие поступки все же были, потому что это являлось для него самым главным. И размышляя до последних дней о тайнах человеческой природы, Плутарх так и не смог ответить на вопрос о том, какие же высшие, не зависящие, по-видимому, от них самих причины побуждают таких людей, как Цезарь, ко все новым свершениям, если ему так и «не пришлось воспользоваться могуществом и властью, к которой он ценой величайших опасностей стремился всю жизнь и которой достиг с таким трудом».

Как и все сочинения Плутарха, его «Сравнительные биографии» — сочетание самых различных элементов: здесь и сведения из истории, и философские размышления, и неизменная моралистика. Здесь множество характерных подробностей из жизни великих людей и стремление проникнуть в их психологию, объяснить движущие мотивы их поступков. Считая, что в жизни не бывает ничего неважного, он приводит самые, казалось бы, незначительные подробности, припоминает различные слухи, анекдоты, отдельные слова и поступки, поскольку, мол, иногда даже самый маленький штрих лучше характеризует человека, чем все его великие свершения.

Плутарх стремится быть справедливым ко всем своим героям: он никогда не забудет упрекнуть, казалось бы, наиболее добродетельных

из них в каком-то промахе, а также похвалить самого, в его представлении, порочного за какую-то хорошую черту его характера. И даже сами пороки он обычно объясняет не слишком хорошей наследственностью или же судьбой. Главное, что ему хочется донести до читателя, с которым он словно беседует, доверительно и непринужденно, — это то, насколько большое значение имеют для всего общества природные качества, нравственный уровень и философские убеждения людей, оказавшихся у власти. Даже в сумерках отечества его не оставляла, как представляется, надежда на то, что все-таки он явится, добродетельный пастырь и человеколюбивый мудрец, или даже не один, чтобы спасти погибающее от собственного неразумия человеческое стадо, и тогда роковые ошибки великих людей прошлого послужат примером и уроком.

В Элладе, провинции Ахайя, давно уже не было людей, достойных какого-либо упоминания, и с тем большей любовью Плутарх воскрешает образы тех, кто были когда-то их общей славой и чьи человеческие качества казались поистине необыкновенными по сравнению с теперешним измельчанием. Одним из таких людей был прославленный своей честностью Фокион, особенно уважаемый Плутархом. Оказавшись у власти в последние свободные годы Афин, он повсюду, по его собственным словам, обнаружил только измену, гниль и подкуп. И хотя Фокион понимал, что отстоять независимость вряд ли удастся, он, как пишет Плутарх, все-таки «принял должность стратега, чтобы не дать этим людям погибнуть, хотя бы даже они и рвались навстречу гибели». В отличие от Демосфена и Гиперида, этих последних радикальных вожаков афинской демократии, призывавших сограждан к немислимым подвигам, Фокион уже не видел тех сил, что могли бы противостоять наступающей на них Македонии, и считал за лучшее мирно поладить с царем Филиппом. Единственно возможное для греков спасение он видел в возвращении к земле, одним из самых больших зол считал демагогию, «с народом говорил как никто другой смело и откровенно, сопротивляясь прихотям толпы и прямо-таки мертвой хваткой вцепляясь в ее промахи и заблуждения».

Благодарность сограждан не заставила себя ждать. Фокион был осужден на смерть, когда в Афинах на какое-то время взяли верх противники мира с Македонией, как двести лет назад был осужден

Сократ, надевшийся остановить нравственный распад общества. Говорят, что Фокиону пришлось дать двенадцать драхм палачу, чтобы тот приготовил нужную порцию цикуты, в связи с чем он даже якобы посетовал другу на то, что «в Афинах нельзя даже умереть даром».

Точно так же был предан согражданами и воинствующий патриот Демосфен: как «торговцы, выставляя на блюдечке образец, по нескольким зернышкам пшеницы продают ее целую партию», так был выставлен перед македонянами знаменитый оратор, не терявший надежды поднять Элладу на последнюю битву. Разъезжая по городам, Демосфен произносил пламенные речи против царя Филиппа, призывая греков к сопротивлению. «Сила демосфенова красноречия, — приводит Плутарх слова старинного автора Феопомпа, — воспламенила их дух, разожгла честолюбие и затмила все прочие соображения настолько, что, забыв и страх, и осторожность, и благодарность, в порыве божественного исступления они устремились к доблести и чести». Это был последний, изначально обреченный порыв, как было последним исполненное гражданской ярости стремление Демосфена послужить отечеству.

Когда «дело эллинов было проиграно окончательно» после битвы при Кранионе, македонский военачальник Антипатр поставил главным условием заключения мира выдачу вожаков демократии — и афинские граждане это требование выполнили. Успевшего скрыться Демосфена нашел на острове Калаврия в храме Посейдона некий Архий, бывший актер по прозвищу Ищейка. Как пишет в связи с этим Плутарх (хотя кто об этом может знать), накануне его последнего дня Демосфену был сон: «он с Архием состязается в исполнении трагической роли, и хотя успех на его стороне, хотя игрою своей он покори́л весь театр, из-за бедности и скудности обстановки победа достается сопернику». И в этом последнем сне, как это вообще бывает в снах, в силу неких таинственных, скрытых от человека причин, воплотилась трагическая парадигма судьбы последнего защитника греческой демократии и свободы. Он был действительно великим исполнителем первых ролей рядом с ничтожеством Архием, но только играть ему выпало в те времена, когда афинское государство, этот блистательнейший из театров, навсегда пережил свою лучшую пору. И поэтому великий гражданин и оратор не мог завершить свою роль иначе, чем он это

сделал: увидев Архия, Демосфен отошел в глубь храма и принял яд, закусив кончик тростникового пера, которое всегда носил с собой.

Подобным образом завершил свою борьбу за республиканские установления выдающийся римский политик, оратор и философ Марк Туллий Цицерон, которого Плутарх сопоставляет с Демосфеном. Он также пытался, со всей силой своего ораторского дарования и гражданских убеждений, продлить сроки изжившей себя Республики и словно бы не видел, не хотел видеть, что римлян, сокрушивших еще, казалось бы, недавно мощь Карфагена, больше нет. Что больше нет того римского народа, который по строгости нравов и суровой простоте жизни был подобен спартанцам. И что на смену ему уже спешат совсем другие римляне — без принципов, разума и чести, те самые, отвратительные образы которых воссоздадут, с бессильным и горьким удивлением, в стихах и прозаических произведениях Петроний, Сенека и Ювенал.

Родившийся в ту пору, когда еще никто бы не поверил, что конец Республики так близок, а для людей незнатного происхождения, каким был Цицерон, открывались новые возможности, он всерьез готовился к большим свершениям на благо общества. Изучал философию и риторику в Афинах и на Родосе, где его способности удивили уже отвыкших от блестящих дарований греков. Вступив на политическое поприще, Марк Туллий проявил себя как человек справедливый и достаточно бескорыстный, что особенно ценил в государственных людях Плутарх. Звездным часом Цицерона было раскрытие заговора против Республики, подготовленного аристократом Луцием Сергием Каталиной, казнь нескольких его сторонников (самому Каталине удалось бежать) и подавление мятежа в самом начале. В награду Цицерон удостоился имени Спасителя отечества. Пафос его речей против Каталины воскрешал в памяти образованных людей демосфеновы филиппики, однако гибель нескольких знатных катилинариев, удушенных по его приказу без суда и следствия в Мамертинской тюрьме, стала в скором времени причиной его изгнания.

В своей жизни Цицерон знал и взлеты, и падения, чему в немалой степени способствовало его самомнение. «Увлекаясь своим красноречием, он часто выходил из границ дозволенного», «даже свои книги и писания он стал наполнять похвалами самому себе», — пишет

Плутарх, приводя длинный перечень примеров оскорбительного злоязычия Марка Туллия. Прирожденных римлян, особенно сенаторов, все больше раздражало, что этот «новый человек», сын небогатого земледельца из Арпина, никого не считал себе равным, и крепко желание от него избавиться. В глазах его херонейского биографа это были всего лишь извинительные слабости незаурядного человека, благоговевшего перед великими философами и писателями Эллады, что было для него самым главным: «он без малейшей зависти восхваляет людей, живших как до него, так и в его время... многое из того, что он сказал, передается по памяти: об Аристотеле, например, что он — река струящегося золота, о диалогах Платона — что это речи Зевса, если ему свойственен человеческий язык. Феофраста он называл „своей усладой“, а на вопрос, какая из речей Демосфена кажется ему наилучшей, он ответил: „Самая длинная“».

После того как Цезарь фактически положил конец республике, а его сторонники, племянник Октавиан (будущий император Август), Антоний и Лепид после военной победы над республиканцами составили, как водится, списки врагов народа — проскрипции, имя Цицерона было туда вписано первым. Незадолго перед этим он удалился в свое поместье близ Тускула, где приступил к работе, вернее, заставлял себя работать над давно им задуманной историей Рима. «Видя, что республика впадает в междоусобие... он перешел к созерцательной жизни, — пишет об этом с всегдашним своим спокойствием Плутарх, — сблизился с учеными греками и стал заниматься науками, но это его не спасло». И тут же воссоздает эту «созерцательную жизнь» — состояние цепящего страха, в котором великий оратор и гражданин провел свои последние месяцы и дни, весь «его запущенный вид, отросшие волосы и изможденное от забот лицо». «Нельзя не пожалеть Цицерона, — заключает Плутарх свое повествование, — вспоминая, как его, старика, обезумевшего от страха, рабы таскали в носилках от одного места в другое, как, пытаясь избежать смерти, он прятался от убийц, настигших его чуть раньше назначенного природой срока, и все-таки был зарезан». Отрубленная голова и руки последнего защитника республики были выставлены в Риме над рострами — «зрелище, от которого содрогнулись римляне», не зная еще, что от подобных картин им

предстоит содрогаться великое множество раз, пока они вообще не утратят этой способности.

При всей приверженности Плутарха к идеалам старинного народовластия, когда, как ему думалось, судьбу греков и римлян решали действительно лучшие граждане, а не беспринципные демагоги и развращенная их подачками чернь, борьба за демократию была для него несовместима с коварством и предательством. И поэтому, отдавая должное Марку Бруту, возглавившему заговор против Цезаря, он не может отделаться от мысли о том, что все равно это было «ужасное деяние». И в отличие от древнего Брута, который положил конец царскому правлению и передал власть сенату и народу, убийца Цезаря выглядит у него чем-то подобным Оресту — матереубийце из трагедии Софокла. Ведь в Риме было всем известно, что в молодые годы Цезарь находился в связи с Сервилией, матерью Брута, которая была в него без памяти влюблена, от этой любви и родился будущий непримиримый республиканец. И, может быть, именно поэтому осаждаемый заговорщиками, отбиваясь от них, Цезарь перестал сопротивляться, увидев Брута с обнаженным мечом — «накинул на голову тогу и подставил себя под удары». За непримиримой яростью, с которой убивали друг друга сторонники различных форм правления, стояла объективная необходимость смены этих форм, необходимость установления единовластия, превращения республики в империю как единственного средства продлить само существование греко-римского мира, но об этом Плутарх не пишет. Он рассуждает, сравнивает, обстоятельно живописует, приводит малоизвестные подробности, избегая главного вывода о том, что вся человеческая история (так же как и варварское существование племен, не знающих городской жизни) — это прежде всего взаимоистребление. Можно было бы сказать, что таким образом перегруженное сообщество освобождается от лишних, от тех, на кого не хватает жизненных благ. Но даже когда и лишних вроде бы не было, когда греков, а затем и римлян становилось всё меньше, взаимное уничтожение не прекращалось до тех пор, пока освободившееся жизненное пространство не заняли другие.

«Твоей душе в порыве вдохновения кажется, что она тоже там, где совершаются события, о которых ты говоришь, — на Итаке, в Трое или где бы то ни было», — писал когда-то Платон. То же испытывал, трудясь год за годом, и Плутарх, запечатлевая в своих сочинениях все

те деяния, предания и представления, которые остались в прошлом, но которые, возможно, пребудут навсегда в каких-то иных измерениях бесконечного мироздания, иначе непонятно, зачем все это было, стояла ли за этим какая-то высшая цель или же это были всего лишь сменяющие друг друга домики из песка играющего дитяти — Вечности, как представлял себе человеческую деятельность вообще мудрейший из людей Гераклит.

Плутарх вступал в свою последнюю пору здоровым и спокойным, как это бывает с человеколюбивыми и мудрыми людьми с незапятнанной совестью, которых до последних дней питает жизненными силами их неустанный труд, а может быть, и сам Вселенский разум оберегает их среди трагических несообразностей людского бытия. Вера и надежда — вот, те незыблемые монолиты, на которых зиждилось величественное сооружение писаний Плутарха, храм, который может оказаться со временем долговечнее Парфенона. Это была непоколебимая вера в благое начало бытия, в беспредельную милость обо всех промысляющего божества. Это были все те же слепые надежды, которыми некогда людей наделил титан Прометей, отняв у них дар предвидения — если же все знать заранее, то многие бы призадумались, а стоит ли жить вообще. Все вокруг говорило, казалось бы, об обратном, но Плутарх продолжал надеяться не только на то, что мир когда-нибудь изменится к лучшему, но даже на то, что и они, греки, еще не изжили себя до конца и что придет время — и на тысячелетних корнях распустятся новые пышные цветы.

Эти надежды укрепляло все более благосклонное внимание римских владык к Элладе. Действительно, после того как в 117 году скоропостижно скончался император Траян, так и не завоевав далекой, золотом обильной Парфии, греки словно бы обрели нового устроителя, нового Тезея в лице Публия Элия Адриана. Также выходец из Испании, он был женат на внучатой племяннице Траяна и усыновлен им незадолго до смерти. Несмотря на открытое недовольство родовой римской знати, Адриан был незамедлительно провозглашен императором своими сирийскими легионами, и сенат) не оставалось ничего иного, как утвердить назначение.

Уже первые шаги, предпринятые этим разносторонне одаренным, деятельным и вместе с тем осторожным человеком, подтверждали правильность выбора Траяна, что с удовлетворением констатирует

Плутарх. Большинство здравомыслящих людей с одобрением восприняли то, что новый император, отказавшись от дальнейшего расширения империи, чрезмерно разросшиеся размеры которой и так уже с трудом поддавалось управлению, вплотную занялся решением первостепенных внутренних вопросов. Он положил конец затянувшейся войне с Парфией, признав ее господство над Ассирией и Месопотамией, и все свое внимание обратил на упорядочение внутренних государственных дел.

Так же как Веспасиан, а затем Нерва и Траян, новый император считал своей опорой тот «средний род» состоятельных и предприимчивых людей, которые, как писал об этом еще поэт Еврипид, составляют здоровую основу каждого общества. То есть тот слой людей, который считал наиболее полезным для каждого города и Плутарх. Хотелось верить, что навсегда канули в прошлое развратные и алчные фавориты-вольнотпущенники, доносчики, изобретатели грязных удовольствий и клакеры, неизменная свита еще не забытых правителей из рода Клавдиев, и что в государстве наконец-то воцарились порядок и спокойствие. Империя, весь их общий мир вступал, что осознавалось все яснее, в тот период, когда только полное прекращение внутренних распрей, упорядоченное, даже регламентированное существование общества и взаимное согласие (даже если внутри него по-прежнему таилось несогласие) — только это могло хоть как-то продлить их исторические сроки. Как это нередко бывает под занавес, наверху все чаще оказывались рачительные правители и порядочные люди, но всех их усилий оказалось в конечном счете недостаточно для того, чтобы государство уцелело.

Люди, живущие обычной жизнью, в трудах и заботах о потомстве, которым был нужен порядок и хоть какая-то законность, не уставали благословлять нового императора за заботу о подданных. Укрепляя империю, Адриан продолжал начатое еще при Траяне строительство городов в восточных провинциях, прокладывались новые дороги и наводились мосты, оживились ремесла и торговля. Вновь назначенные прокураторы, не выжимая из провинциалов последнее, стремились поддерживать порядок во вверенных им областях. Было замечено, что Адриан не жалуется переполненный северными варварами и всяким сбродом Рим и предпочитает подолгу жить в провинциях, словно

предчувствуя, что именно на восточной окраине империи суждено появиться новому очагу государственности и культуры — во многом другой и все же восходящей к общим корням.

Что касается обитателей провинции Ахайя, то для них Адриан действительно казался новым Тезеем. Хорошо знакомый с греческой литературой и философией, занимавшийся на досуге живописью, музыкой и даже писавший стихи, он уважал греков за их прошлое и пытался — и это уже было действительно в последний раз — вдохнуть новую жизнь в угасающие полисы. Император выделял средства на поддержание храмов и традиционные празднества, развернул в Афинах большое строительство, у подножия Акрополя был выстроен новый музыкальный театр Одеон, и даже была распространена на Ахайю алиментарная система — выдача пособий на детей, чтобы не дать грекам вымереть окончательно. При этом Адриан прежде всего стремился укрепить положение состоятельных людей, видя именно в них еще жизнеспособные силы провинции.

Загоревшись идеей объединить всех греков, живущих на территории империи, Адриан создал даже Панэллинский союз, который уже ничего не мог изменить в завершающейся судьбе Эллады, но который тем не менее продержался более столетия, решая местные проблемы не первой значимости. Одновременно с основанием союза в Афинах был воздвигнут храм в честь Зевса Панэллиния, под которым подразумевался Адриан, состоялись блестящие празднества и игры. Была также создана коллегия панэллинов, в обязанности которой входило, в числе прочего, совершать ежегодные жертвоприношения Зевсу-Освободителю в Платеях, в память о греках, павших в борьбе против персов.

Привыкшие за последние четыреста лет воздавать божественные почести всем правителям — македонским царям, римским наместникам и императорам, «священнейшим и совершеннейшим из басилеев» (как называли они и Тиберия, и Нерона), греки с тем большей искренностью почитали нового Зевса — Адриана, новую Геру — императрицу Сабину и удостоили обожествления даже адрианова любимца, прекрасного юношу Антиноя, утонувшего в Ниле.

Для Плутарха, как вообще для верхов провинциального общества, приход к власти такого человека, как Адриан, был поистине милостью, ниспосланной высшими силами. Ведь после того как в течение

нескольких десятилетий «похвалы императорам расточались на игрищах и в состязаниях, а дела их изображались в плясках, во всякого рода зрелищах», трудно было надеяться на то, что во главе государства окажется человек разносторонних способностей, дважды обошедший пешком всю империю, покровитель ремесел и искусств. Теперь, когда многие родовитые римляне принимали афинское гражданство и немало греков, в свою очередь, удостаивалось больших должностей в Риме, можно было, казалось, согласиться с Плинием Младшим, что «поприще чести и славы открыто перед всеми», что «каждый может достигнуть на нем того, что пожелает и, достигнув, быть обязан самому себе».

И действительно, о таких богатых и влиятельных греках, как Тиберий Клавдий Аттик Герод, уже трудно было сказать, кто они больше — афиняне или же римляне. Уже дед Герода, Гиппарх, из старинного марафонского рода, обладатель огромного состояния, удостоился стать римским сенатором. Сам Герод Аттик был консулом-суффектом при Траяне и Адриане, занимал высокие общественные должности в Афинах, в том числе и жреческие. Семейство Аттиков жило в невероятной роскоши, однако, следуя старинному обычаю эллинов, они щедрой рукой давали на благоустройство города, на жертвоприношения и даже на раздачу бедноте, притом что у них была в неоплатном долгу большая часть афинян.

Последние императоры из династии Антонинов покровительствовали состоятельным и одаренным грекам, открывая им путь к власти. Все больше рассматривая старинную культуру Эллады как общее достояние империи, они были благосклонны и к теперешним служителям Муз, тем более что талантливых людей с каждым поколением становилось все меньше. Был удостоен высочайшего внимания и Плутарх. Как будто бы он был даже назначен Адрианом прокуратором Ахайи, однако это представляется маловероятным ввиду как его преклонного возраста, так и твердого желания, о чем он сам не раз писал, полностью сосредоточиться на служении единственному своему господину — Аполлону Локсию, и в храме, и на литературном поприще.

При всей своей приверженности подлинному народовластию, какое, по его мнению, было во времена Аристида и Кимона в Афинах, Плутарх воспринимал с очевидным удовлетворением правление

последних императоров, поскольку было очевидно, что только единовластие соответствует теперешнему состоянию населения империи. Он продолжает обращаться к этому вопросу в своих сочинениях, например, в трактате «О монархии, демократии и олигархии», написанном под несомненным влиянием Полибия. Он разделяет его учение о трех видах государственного устройства — монархии, аристократии и демократии, причем каждая из них, в силу диалектики, с течением времени обращается в свою противоположность, и начав свою историю с единовластия, народ (Полибий имел ввиду греков и римлян) к нему же в конце концов и возвращается. Хотелось верить, что вот оно и пришло, время такой монархии, какую хотелось увидеть Платону, — соединения власти с философией, и Плутарх не раз (например, в сочинениях «О счастье римлян» и «О душевном спокойствии») выражает Траяну и Адриану признательность за то, что в государстве, наконец, воцарились порядок и спокойствие. Хотя при этом он никогда не забывает, что за более или менее безопасное существование греки, как и другие народы империи, заплатили самым ценным, что может быть у человека, — независимостью и свободой.

В отличие от Платона и Аристотеля, которые и предвидеть не могли, во что превратятся греческие полисы, в отличие от Полибия, не заставшего заката Римской республики, Плутарх располагал обширным материалом для сравнения. И этот материал, вся история Эллады и Рима свидетельствовали о том, насколько губительна для общества каждая из форм правления, выродившаяся в свою противоположность. В значительной мере благодаря демократии афиняне смогли организовать остальных греков на борьбу против персов и одержали победу, в свою лучшую, здоровую пору народовластие способствовало расцвету ремесел, поэзии и философии, усилению влияния греков на соседние народы. Но та же демократия, превратившись в демагогию корыстных и беспринципных политиканов, взлелеяв такую язву общества, как сикофанты-доносчики, державшие в страхе честных граждан, в конце концов погубила афинян. Прав оказался старинный поэт Симонид, писавший о том, что как «у жаворонка должен появиться хохолок, так и в каждом демократическом государстве сикофанты-доносчики».

Беспримерная порча нравов, разнузданный произвол богатых, обнищание народа превратили демократию в тиранию самых худших, жители стали покидать города в «страхе и ненависти к народному собранию, государственной деятельности, возвышению для ораторов». В гражданском и нравственном отношении совершенно погубленный демос превратился сначала в охлос — живущую на подачки городскую чернь, затем — в бесправных, в большинстве своем нищих подданных македонских царей, и наконец — в вымирающее население римской провинции Ахайя. Именно этого «погубления народа» Плутарх не мог простить даже тем вожакам демократии, вся жизнь которых состояла, казалось бы, в одном служении отечеству.

Работая над жизнеописаниями выдающихся политиков прошлого, Плутарх снова и снова убеждался, насколько полезным было для них знакомство с философией, и хотел донести это до современников, занимающихся государственной деятельностью. Он был далек от мысли хоть в чем-то сравниться с Сократом, имевшим большое влияние на Перикла, или же с Анаксагором, который в того же Перикла «вдохнул величественный образ мыслей, возвышающий его над уровнем обыкновенного вожака народа» и превративший его в «устроителя Афин». Однако Плутарх считает и себя вправе давать советы людям, находящимся у власти. В своих наставлениях Плутарх рисует образ правителя, живущего и действующего на благо государства и народа, — такого, какого надеялась обрести в Адриане наиболее просвещенная часть его подданных. Хотелось верить, что именно об этом правителе можно будет сказать, что «подданные боялись не его, а за него», и что его власть окажется «сладкой».

Шел, катился неспешно и достойно отпущенный Плутарху век, многое осталось позади, невозвратимое и драгоценное: биение горячего сердца, священный восторг познания и юная радость приобщения к этому единожды даруемому нам миру. Но оставался сам мир, его прекрасная древняя земля, бездонная синь небес и лесистые дельфийские горы, которые старый жрец видел, едва пробудившись, из узкого окошка своего скромного жилища. Оставались старинные свитки, друзья, ученики и многочисленные почитатели, оставалось, наконец, самое главное — его возвышенные и мудрые писания, ни с чем не сравнимый памятник поколениям мигнувшим и драгоценный завет для поколений будущих.

В Дельфы к нему приезжали родные и друзья, и Плутарх, как всегда, с радостью делился с ними своими обширными познаниями. Как эллины прошлых времен из его диалогов, они бродили между храмов и маленьких сокровищниц давно захиревших полисов, отдыхали в тени старых деревьев, беседуя о тех отвлеченных материях, которые и раньше-то были интересны немногим, а теперь казались и вовсе ненужными. В одном из своих сочинений Плутарх вспоминает, как они заспорили с братом Ламприем о том, что означает цифра пять на фронте дельфийского храма. Брат высказал предположение, что эта цифра означает пятерых знаменитых греческих мудрецов — Хилона, Фалеса, Солона, Биаса и Питтака. Сам же Плутарх склонялся к пифагорейскому истолкованию: пять — это число, «господствующее над всем прекрасным и честным в мире». В другом месте он пишет о том, как показывал Дельфы своему молодому ученику Диогену с друзьями, провел их от Священной дороги до храма Аполлона, рассказал обо всех надписях и изображениях на монументах, припомнил некоторые любопытные случаи, связанные с Дельфами и предсказаниями оракула. Побывавшие в далеких краях, такие как спартанец Клеомброт, посетивший Египет, или же некий грамматик Деметрий, который добрался до самой Британии, со своей стороны рассказали Плутарху немало любопытного о чужих обычаях и верованиях. В трактате «Об упадке оракулов» он упоминает о восточном пророке Зороастре, о котором узнал от Клеомброта.

Для Плутарха, как и для других греческих мыслителей, чужие религии были всего лишь суевериями «диких народов, покоренных победоносным оружием». Он словно бы не замечал (по крайней мере, в своих сочинениях он избегает касаться этой темы), как сжимается варварское кольцо вокруг империи, как только и ждут своего часа неведомые полчища, которым «нужна земля, что могла бы прокормить такое множество людей, и города, где они могли бы жить». И чем больше ветшал грекоримский мир, тем чаще поднимались против него враждебные племена на востоке и на западе, и пощады от них ждать не приходилось. Вождь восставших батавов Юлий Цивилис, как писал об этом Тацит, «выступая против римлян, дал обет не стричь волосы, пока не добьется победы», и «отдал нескольких пленных своему маленькому сыну, чтобы те служили мишенью для его упражнений в стрельбе из лука и метании дротика». Державшаяся многие столетия в

узде, немерянная и не считанная варварская ойкумена уже словно чуяла приближение своего часа.

Старый жрец Аполлона, рассуждавший со своими друзьями о том, что Луну, возможно, населяют те самые демоны, которыми кишит околоземное пространство (о чем он писал в трактате «Лик месяца»), не хотел об этом знать — о батавах, Цивилисе, о подступавших к восточным границам парфянах. Не в его силах было этому хоть чем-то воспрепятствовать, единственное, что он мог, это только одно — слиться всем сердцем, всем своим существом с той таинственной силой, которая исходила от дельфийской земли, и остаться с ней навеки — невысокий старик с жреческим венком на седых поредевших кудрях, прижавшийся худой спиной к нагретой за долгий летний день колонне храма...

«Разве для доброго человека не всякий день есть праздник? И еще какой великий, если только мы живем разумно! Ведь мироздание — это храм, преисполненный святости и божественности, и в него-то вступает через рождение человек, дабы созерцать не рукотворные и неподвижные кумиры, но явленные божественным Умом чувственные подобия умопостигаемого, как говорит Платон, наделенные жизнью и движением, — солнце, луну, звезды, реки, вечно изливающие все новую воду, и землю, питающую растения и животных», — пишет Плутарх в трактате «О благорасположении духа». До конца своих дней он сохранял убеждение в том, что счастье и покой заключены прежде всего в душе человека и что отношение к жизни, понимание ее смысла и целей определяют в конечном счете и самую эту жизнь.

В пору «благозакония», когда жизнь общества зиждется на твердых писанных и не писанных правилах, соответствующих, как считали старинные поэты и философы, Мировой справедливости, когда еще не стерты грани между добром и злом, правдой и ложью, людей с прочными внутренними устоями бывает значительно больше. Когда же исчезают страх перед богами и стыд перед людьми, а самым лучшим считается самое выгодное, сохранять ясность духа и ума становится все труднее. И хотя Плутарх жил в такие времена, когда, казалось, не осталось ни одного установления, не превратившегося в свою противоположность, он никогда не усомнился в том, что только следование законам нравственности и справедливости является основой подлинно человеческой жизни. Более того, он был убежден,

что сохранять и даже воспитывать в себе добродетель можно при любых обстоятельствах, иначе зачем бы он писал свои трактаты по философии и этике?

«Я не думаю, клянусь Зевсом, о том, чтобы потешить и развлечь читателей пестротой своих писаний, но, подобно фиванцу Исмению, который показывал ученикам и хороших, и никуда не годных флейтистов, приговаривая: „Вот как надо играть“ или: „Вот как не надо играть“... точно так же я убежден, что мы внимательнее станем всматриваться в жизнь лучших людей и охотнее им подражать, если узнаем, как жили те, кого порицают и хулят». Так начинает Плутарх жизнеописания Деметрия Полиоркета, сына Антигона Одноглазого, одного из наследников-диадочов Александра Македонского, и римского императора Антония, олицетворявших в его глазах ту крайнюю степень нравственного падения, до которой доводит опаснейший из девизов — «все позволено». «Оба они были одинаково сластолюбивы, оба пьяницы, оба воинственны, расточительны, привержены роскоши, разнузданы и буйны» — и оба оказались в конце своего сумбурного пути никому не нужными и всеми презираемыми.

Блистательный Полиоркет, и вправду походивший на актера в своем алом, с золотой каймой одеянии и расшитых золотом пурпурных башмаках, появляется в заключительном акте истории независимой Эллады и, восстав против своих же македонян, обещает вернуть грекам свободу, которую им было никогда не вернуть. Его жизнь, не воспетая поэтами, но рассыпанная по множеству анекдотов второго разбора, была чередой блестящих успехов и жесточайших поражений в той войне, что развязалась между преемниками Александра. Ожесточенные битвы на азийских равнинах, морские походы, освобождение Афин от македонских ставленников и оргии в Парфеноне, храме Паллады, которую «взысканный удачей» герой называл своей старшей сестрой.

Самомнение Деметрия, по натуре, впрочем, не злобного, не знало пределов, он и вправду казался себе равным богам. Сделавшись на какое-то время царем Македонии, он приказал изготовить себе «плащ — редкостное произведение ткаческого искусства, с картиной вселенной и подобием небесных явлений и тел». Никто из последующих правителей не дерзнул накинуть на плечи плащ с изображением вечного и бесконечного Космоса. И в то же время

единственным настоящим удовольствием Морского царя (как стали называть Полиоркета после того как он утратил все владения на суше и у него остался только флот) было мчаться, стоя на самом носу корабля, по разбушевавшимся волнам, подставив соленому ветру озаренное беспечной улыбкой лицо. Громкая слава Освободителя Греции была недолговечной, и оказавшись, в конце концов, в почетном плену у своего зятя Селевка в Сирии, играя в кости и пьянствуя, Деметрий умер на пятьдесят четвертом году.

Какая же «цель у войн, которые ведут, не останавливаясь перед опасностями, негодные цари, безнравственные и безрассудные?» — вопрошает Плутарх, стремясь понять, что движет такого рода людьми, и даже как будто жалея их: «Ведь дело не только в том, что вместо красоты и добра они гонятся за одной лишь роскошью и наслаждениями, но и в том, что даже наслаждаться и роскошествовать по-настоящему они не умеют». Но если у Деметрия, который, «пока обстоятельства ему благоприятствовали, неизменно стремился к освобождению Греции» (что было для Плутарха самым главным), он все же находит какие-то проблески благородства, то в отношении Марка Антония, сражавшегося с будущим императором Августом за власть над Римом, он непримирим. Признавая присущее Антонию величие, он в то же время сожалеет о том, что это величие меркнет в сравнении с тем нагромождением ошибок, безумств и предательств, какое представляла собой, по его мнению, жизнь этого человека, не сумевшего стать господином собственных страстей.

Плутарх не мог простить Антонию того, что тот, будучи со своим войском в Беотии, заставлял херонейцев таскать на спине хлеб для своих легионеров, и поэтому все в этом римлянине представляется ему отмеченным пороком и злом: и эта «напасть — его любовь к Клеопатре», и «тиранические намерения» в отношении римского народа, и пышные празднества в восточных городах, население которых приветствовало полководца с лицемерным ликованием, за которым таился страх. «Когда Антоний въезжал в Эфес, — рассказывает Плутарх в его жизнеописании, — впереди выступали женщины, одетые вакханками, мужчины и мальчики в обликом панов и сатиров, весь город был в плюще, повсюду звучали псалтерии, свирели, флейты, и граждане величали Антония Дионисом — Подателем радости, источником милосердия. Нет спору, он приносил и

радость, и милосердие, но лишь немногим, для большинства же он был Дионисом кровожадным и неистовым. Он отбирал имущество у людей высокого происхождения и отдавал негодьям и льстецам. Нередко у него просили добро живых, словно бы выморочное, — и получали просимое». Самоубийство Антония представляется Плутарху, по существу, единственным разумным шагом после стольких поступков, осуществленных точно в горячечном безумии, и трагическая эта кончина вернула злосчастному римлянину заложенное в нем от природы величие.

Проживая со своими героями век за веком всю историю греков и римлян, Плутарх видел, как по мере иссякания «старинного благозакония» народ отходил от труда, особенно земледельческого, от верований предков и гражданского равенства и все реже порождал людей действительно доблестных и добродетельных. И все равно он продолжал надеяться (ведь другого ничего не оставалось), что если каждый будет стремиться к добродетели, то и жизнь общества в целом станет более нравственной и здоровой. Плутарх прекрасно понимал, что возвращение к старинному порядку вещей вообще невозможно, это было ясно из написанных им биографий спартанцев Агиса и Клеомена, а также римлян братьев Гракхов, всей силы мужества и жертвенности которых оказалось недостаточно для того, чтобы вернуть навсегда ушедший уклад.

Двадцатилетнему царю Агису, человеку «чрезмерной совестливости, мягкости и человеколюбия», досталась Спарта, имеющая мало общего с тем первенствующим среди греков Лакедемоном, в котором «грозный закон был поставлен стражем» равенства и благочестия. Уже более (рта лет спартанцы, как и остальные греки, находились под властью македонских царей, и превратились в легенду те времена, когда «мужья не решались прямо взглянуть на жен», пока не смоят кровью позора поражения. После победы над афинянами в Пелопоннесской войне в Спарте впервые после принятия Ликурговых законов было поколеблено «стойкое равнодушие к деньгам», вслед за этим, как водится, пришли «роскошь, изнеженность и расточительство». Вскоре дело дошло до земли: был отвергнут старинный закон об общественной собственности на землю, и теперь «каждый мог подарить при жизни или оставить по завещанию свой дом и надел кому угодно». «Сильные стали наживаться без

всякого удержу... и скоро богатство собралось в руках немногих, а государством завладела бедность, которая, вместе с завистью и враждой к имущим, приводит за собой разного рода низменные занятия, не оставляя досуга ни для чего достойного и прекрасного».

С исчезновением равенства и простоты жизненного уклада сошли понемногу на нет и былые замечательные качества спартанцев, ибо «строй частной жизни в гораздо большей степени определяется общественными установлениями, нежели наоборот». Поэтому, задавшись целью вернуть спартанцев к ликургуову благозаконию, царь Агис решил прежде всего восстановить былое землеустройство, а также имущественное равенство и «общий для всех образ жизни». Сам соблюдая обычаи предков в пище, одежде и времяпровождении, он отдал «во всеобщее пользование свое имущество, заключающееся в обширных полях и пастбищах, а также в шестистах талантах звонкой монетой». Преодолевая сопротивление второго царя Леонида (Спарта, согласно древнему обычаю, имела двух царей), Агис объявил об уничтожении долгов и переделе земли. Все долговые обязательства торжественно сожгли на площади, но до перераспределения полей так и не дошло. Те около ста спартиатов, которые завладели большей частью земель, в том числе и дядя Агиса, составили заговор против молодого царя. Особенно его ненавидели состоятельные женщины, сосредоточившие в своих руках огромные богатства и не желавшие даже вспоминать те времена, когда главным богатством спартанок была воинская доблесть их сыновей. Царь Агис был убит заговорщиками, были задушены его бабка Архидамия и мать Агесисстрата, одна из последних настоящих спартанок, родившая напоследок своему неблагодарному племени великого сына. «С тех пор, как дорийцы населяют Пелопоннес, не случилось в Спарте ничего более ужасного и нечестивого», — завершает повествование Плутарх.

Начатое Агисом попытался продолжить Клеомен, старший сын соправителя Леонида. Женившись по воле отца на вдове Агиса Агиатиде, Клеомен много слышал от нее о благородных замыслах ее первого мужа, о стремлении возродить «вконец обессиленное государство». Наконец Клеомен и сам загорелся подобным желанием, не в силах видеть, как «богачи, поглощенные заботой о собственных удовольствиях и наживе, пренебрегали общественными делами, а народ, страдая от нужды, и на войну шел неохотно и даже в

воспитании детей не искал более для себя никакой чести». Приняв решение, Клеомен приступил к преобразованиям: земля была поделена заново, восстановлены общие трапезы и прежняя система воспитания. Последователь стоиков, ценивший превыше всего «громадное, ничем не приобретаемое благо» знаний, Клеомен стал «наставником для своих подданных, предложив им как пример воздержанности и здравого смысла собственную жизнь — простую, скромную, начисто лишённую подлого чванства и ничем не отличавшуюся от жизни любого человека из народа». Однако его уравнилельные преобразования закончились также ничем, и в объяснении этого Плутарх противоречит сам себе, как и во многих других случаях. С одной стороны, он видит одну из главных причин в междоусобных распрях, в данном случае в отсутствии согласия между спартанцем Клеоменом и ахейцем Аратом, который мог бы помочь реформатору в борьбе с его противниками. Как считает Плутарх, это окончательно «погубило Грецию, которая именно в те дни могла еще как-то оправиться от своих бед и спастись от высокомерия и алчности македонян». Но с другой стороны, и это было самое главное, Плутарх понимал, что даже в те времена вернуть прежний уклад спартанцев было так же невозможно, как повторить подвиги героев Троянской войны. И поэтому, хотя все как будто бы радовались переменам, произошедшим благодаря Клеомену с народом Спарты, эта радость была недолгой и перемены эфемерными. Этот самый последний из последователей Ликурга был вынужден просить поддержки у тех самых чужеземных царей, которые спорили между собой за господство над Грецией, но эта помощь уже была бесполезна.

Клеомен умер в Египте, всем чужой со своими реформаторскими утопиями, были убиты дети, погибла его престарелая мать Кратисеклея, мученически и героически, как троянская царица Гекуба в еврипидовых «Троянках». «Сама смерть нимало не страшила Кратисеклею, и только об одном она молила — чтобы ей разрешили умереть раньше детей, но когда их доставили, наконец, к месту казни, палачи сперва убили детей на глазах у старухи, которая, глядя на это чудовищное зрелище, промолвила лишь: „Куда вы ушли, мои маленькие“». «Этой трагедией, — завершает повествование Плутарх, — где женщины состязались в мужестве с мужчинами, Спарта напоследок показала, что истинную доблесть даже судьбе

одолеть не дано». И это было действительно напоследок, поскольку с тех пор несгибаемый Лакедемон довольно скоро отошел в область преданий, и, как у всей Греции, у него не было впереди ничего, кроме нескольких тусклых веков «недостойного его прошлого существования».

«Есть перерыв, гибели нет. И смерть, которую мы со страхом отвергаем, прерывает, а не прекращает жизнь», — писал Луций Анней Сенека, и Плутарх мог согласиться с каждым его словом, спокойно готовясь переступить черту между миром видимым и невидимым, не сомневаясь в том, что за этой чертой ему откроется многое из сокровенного.

Объехавший многие земли и города, в свои последние годы Плутарх почти не покидал Дельфы, которые считались когда-то сердцем Эллады и продолжали для него оставаться такими и теперь. И все же есть основания предполагать, что он посетил еще раз «прекрасные, всеми воспетые Афины», чтобы постоять напоследок в тени рощи Академа, полюбоваться непревзойденными творениями Иктина и Калликрата и навсегда унести с собой в вечный мир сияющий образ неповторимого города.

Обласканные Адрианом, Афины словно бы воспрянули от бед и страданий последних четырех столетий, впервые, пожалуй, со времени Перикла наполнившись шумом строительных работ. По приказу императора (до того стремившегося походить на эллина, что он даже первым из римских властителей отпустил бородку по греческому обычаю) возводили большой жилой квартал, новый Одеон у подножия Акрополя, неподалеку от старинного театра Диониса, а также приступили к завершению Олимпиона — гимнасия, основание которого было заложено еще шестьсот лет назад тираном Писистратом.

Адриан хотел видеть в себе нового Тезея, возрождающего к жизни древнейший из греческих городов, восходящий, быть может, своими истоками еще к домикенским временам, к мифической эпохе храмов Афины и Посейдона на берегах озера Тритона на северо-западе Африки. На арке, отделявшей старый город от строящегося нового квартала, было высечено: «Афины то Тезея прежний город здесь», а с другой «То Адриана город, не Тезея здесь». Помогая и деньгами, и продовольствием (так, однажды он подарил голодающему демосу

годовой запас хлеба), император считал нужным вникать во все нужды великого города, ставшего словно бы его любимым детищем. «Знайте, — писал он в одном из посланий афинянам, — что я пользуюсь всеми предложениями, чтобы благодетельствовать и всенародно полису, и частным образом отдельным из афинян; вашим детям и юношам даю гимнасий, чтобы он был украшением городу и... вдобавок (цифра не сохранилась. — Т. Г.) талантов... будьте счастливы».

И они всей душой надеялись быть счастливыми, эти жители адриановых Афин, среди которых уже трудно было бы отыскать потомков не только что маратонских бойцов, но даже тех, которые ходили в восточный поход с Александром. Казалось просто невероятным, что Судьба обратила на них благосклонный взор и что теперь им покровительствует могущественный человек из того самого Рима, который в течение нескольких столетий их грабил и унижал. Конечно, новые Одеон и Гимнасий имели мало общего со строениями древних мастеров и, в сущности, квартал Адриана — это были не новые Афины, а перенесенный на аттическую землю кусочек Рима, и все равно это сулило какую-то новую, может быть, даже долгую жизнь.

Оживились философские споры, со всех сторон понаехали речистые софисты (тем более что милостивый император учредил на государственный счет кафедру риторики), составляя для присмирившей от сытости толпы многоцветные словесные мозаики, в которых тщетно было бы искать хотя бы одну заслуживающую внимания идею. И как в молодости, когда он слушал модных софистов в азиатских городах, у Плутарха не вызывали ничего, кроме раздраженного недоумения, все эти речи, которые, по мнению менее взыскательных слушателей, «гремели, сверкали и приводили в смятение», лились «широким великолепным потоком» — неизвестно куда и непонятно зачем.

И опять, уже не в первый раз Плутарх стремится отстоять воспринятое от Платона и отвечающее его собственному мировидению понимание риторического искусства: «Красноречие, говоря словами Платона, есть искусство управлять душами и... главная задача его заключается в умении правильно подходить к различным характерам и страстям, будто к каким-то тонам и звукам души, для извлечения которых требуется прикосновение очень умелой руки». В

«Жизнеописании софистов» Плутарх называет тех семерых, которые стали так называться первыми и от которых, как он считал, все же была какая-то польза. Относительно же теперешних «учителей празднословия» он мог бы согласиться полностью с мнением Сенеки о том, что «кто им предался, только хитро запутывает мелкие вопросы, ничего полезного для жизни ни приобретая, не став ни мужественней, ни воздержанней, ни выше духом».

Софисты вызывали тем более резкое неприятие Плутарха, что все они насмешливо-пренебрежительно относились к учению Платона о высших нетленных идеях, предпочитая материализм Демокрита. Так, Элий Аристид, молодой современник Плутарха, в сочинении «О риторике» подверг сомнению платоновое понимание сущности и назначения красноречия и в своей речи «В защиту четырех против Платона» выступил с апологией четырех вождей афинской демократии — Мильтиада, Кимона, Фемистокла и Перикла, доказывая полную несостоятельность их критики со стороны основателя Академии. Как и в последние годы Пелопоннесской войны, когда афинские софисты Антифонт, Ферамен и Калликл оправдывали «естественное право сильного», так и сейчас, в обстановке обнищания и деградации, Элий Аристид и его сторонники призывали не церемониться со всяким сбродом во имя спасения того, что еще оставалось от Эллады. Все надежды они возлагали на наиболее жизнеспособных, реалистически мыслящих людей, не забивающих себе голову ненужными абстракциями. А тяготеющий к софистике Герод Аттик (сын известного афинского богача Герода Аттика) прямо апеллировал к такой одиозной для все еще помнящих о демократии фигуре, как софист и богач Критий, ратовавший в свое время за обуздание черни и установление власти наиболее состоятельных граждан.

Плутарх, как мог, пытался противостоять этому новому «восстанию против философов», подвергая безжалостному критическому разбору постулаты знаменитых софистов и, в частности, Горгия. Во всяком случае известно, что в одном из своих писем к императрице (впрочем, эти письма могли быть всего лишь распространенным в то время литературным жанром) Филострат, также младший современник Плутарха, просит следующее: «Убеди же, о, царица, Плутарха, наглешего из эллинов, не враждовать с софистами и не клеветать на Горгия; если же тебе не удастся его

убедить, ты сама, при своей мудрости, знаешь, какого имени он заслуживает, а я и назвать его по достоинству не умею».

Впрочем, осмеянная философская мудрость нередко оказывалась, в силу извечной диалектики, последним прибежищем для наиболее рьяных ее отрицателей. Как это случилось с Дионом Христором, который после крушения честолюбивых политических начинаний и изгнания из Рима опять обратился к той самой «науке о всеобщем», на которую обрушивался с такой страстью в речах «Против философов» и «Против Мусония». Что же касается «наглейшего из эллинов», который еще при жизни удостоился памятника от сограждан, то его философских убеждений было не поколебать и тысяче критиков и филостратов. Плутарх спокойно взирал на мир: божество даровало ему самую главную милость — видеть, может быть, недолгое, может быть, последнее оживление культурной жизни Эллады, видеть, как опять собираются юноши на философские диспуты, как спешат певцы на оживившиеся состязания, как справляет немного воспрянувший от нищеты греческий народ свои старинные празднества. И пусть исполняемые мелодии не всегда отвечали строгому вкусу последователя Пифагора и Платона, а стихи казались одни — чересчур перегруженными ученостью, лишенными искреннего чувства, а другие — пустенькими и пошлыми, все равно Плутарх был доволен. Доволен уже тем, что появились какие-то надежды (те слепые надежды, что даровал людям Зевс взамен отнятого дара предвидения), и хотелось думать, что все это оживление — не осиянный нежданно лучами закат их блистательного дня, но уже вырисовывающийся рассвет дня нового.

Отдав последнюю дань восхищения городу Паллады (кто знает, может быть, даже более вечному, чем Рим), Плутарх навсегда уединился в своем скромном жреческом жилище, чтобы положить все оставшиеся у него дни на завершение творимой им в течение многих лет литературно-исторической картины. Создавая портреты тех, в ком он видел «последних из эллинов», он работал над ними с предельной тщательностью, используя все сохранившиеся сведения, учитывая самые различные суждения. Такими для него были ахейские стратеги Филопемн и Арат.

«Как мать, родившая сына в старости, так и Греция, произведя его на свет много позже доблестных вождей древности, любила

Филопемена исключительной любовью», — так начинает Плутарх повествование о знаменитом стратеге, в котором словно бы напоследок воплотились вошедшие в предания качества военачальников тех времен, когда греки противостояли все вместе восточному варварству, как их непревзойденные достоинства, так и непоправимые ошибки. Плутарх постоянно призывает греков к спокойствию, призывает реалистически оценивать теперешнее свое положение, и все равно душа его тосковала по навсегда ушедшему героическому, и еще одно доказательство этому — образ Филопемена из аркадийского города Мегалополя. На его примере Плутарх стремится представить столь желанное для него сочетание философского образования и воинского таланта, однако в конечном счете перед читателем предстает доблестный муж, рожденный для воинских подвигов, но сражающийся не с персами, подобно Кимону, и даже не с македонцами, а со своими же соплеменниками-греками.

Филопемен предстает у него прежде всего как враг тирании, бескорыстный и справедливый человек, который стремится следовать «старинному благозаконию» и в то же время приближает их общую и окончательную несвободу. Хотя в это время Греция была уже почти вся под властью Македонии, в ней не прекращались внутренние распри, теперь в основном на Пелопоннесе, — то заключались недолговечные союзы для борьбы против местных тиранов, то с ожесточением нападали на вчерашних союзников. Спартанцы, ахейцы, аркадяне, этолийцы и элейцы продолжали истреблять друг друга в условиях почти полной всеобщей несвободы, как гладиаторы на аренах еще мало знакомого им Рима.

Филопемена воспитывали как гражданина былых свободных времен, будущего стратега знакомили с учениями о мироздании и бытии, «чтобы изучение философии сделало из него человека, полезного для всей Греции». Он твердо усвоил главную для настоящего эллина истину — жить только на честные доходы, презирать внешний блеск и, будучи уже победителем ненавистных всем тиранов, отвергал любые приношения и подарки от освобожденных. Он любил простую жизнь и труд на земле. «У него было прекрасное поместье в двадцати стадиях от города, — рассказывает Плутарх. — Туда он ходил каждый день после обеда или после ужина... вставши рано утром, он работал вместе с

виноградарями или пахарями и опять возвращался в город, где с друзьями и должностными лицами занимался общественными делами». Но больше всего Филопемени любил военное дело, с юных лет учился вести бой в тяжелых доспехах и ездить верхом, став стратегом, постоянно занимался воинской подготовкой своих солдат.

Когда Филопемени было тридцать лет, он отличился в войне против спартанского царя Клеомена, неожиданно ночью напавшего на Мегалополь. Потом поехал воевать на Крит и «вернулся к ахейцам в таком блеске славы, что тотчас же был назначен начальником конницы» — вторая после стратега должность в Ахейском союзе. Потом была война со спартанским тираном Маханидом, когда Филопемени в полной мере проявил свое бесстрашие и доблесть. Из-за разногласий с гражданами Мегалополя он опять уехал на Крит, откуда возвратился увенчанный еще большей славой. В это время ахейцы при поддержке римлян воевали против нового спартанского тирана Набида. Неожиданно и коварно Набид был убит этолийцами, и Филопемени, воспользовавшись волнениями в Спарте, присоединил спартанцев к Ахейскому союзу. На семидесятом году жизни Филопемени был в восьмой раз избран ахейским стратегом и надеялся остаток своих дней прожить в покое. Однако ему пришлось воевать с отложившимися от союза мессенцами, он попал в плен и был посажен в подземелье. Узнав о его пленении, ахейцы отправили в Мессену посольство с требованием выдачи пленного, а сами стали готовиться к походу. К Филопемени же в подземелье явился раб с чашей яда, и доблестный стратег вскоре угас от яда и от слабости. Ахейцы отбили тело Филопемени, он был похоронен с подобающей честью в Мегалополе и около его памятника были побиты камнями мессенские пленники. Взаимное самоистребление не прекращалось. Ненависть к тирании, любовь к свободе, героизм и одновременно благородство «последнего из эллинов» ни в ком из греков не проявились с такой силой, как у Филопемени, он был, пожалуй, последним подлинным сыном угасающей Эллады.

Печальной была и кончина Арата, другого знаменитого стратега Ахейского союза. Он был последним из тех, кто «выше всех благ на свете ценил согласие народов, общение городов между собой, единодушие в советах и собраниях», но и он уже ничего не мог изменить ни в общей судьбе Эллады, ни даже в судьбе своих ахейцев,

долее других сохранявших независимость. Арат завершил жизненный путь, подобно многим другим защитникам отечества, еще раз подтвердив правоту слов, сказанных когда-то отцом Фемистокла, о старых триерах, выброшенных догнивать на берегу: «После тридцати трех лет, проведенных на государственном поприще во главе Ахейского союза, после того как и славою, и силой этот человек превосходил всех в Греции, он остался один, сокрушенный и беспомощный, и теперь, когда его родина потерпела крушение, носился по волнам в разгар губительной бури», и никто не пришел ему на помощь.

Плутарх пишет об этом спокойно, поскольку для последователя Платона все тяготы и разочарования эфемерного людского бытия значили так же мало, как и изобилие материальных благ. И несмотря на то, что в конце концов предводитель ахейцев «остался хозяином и владыкою лишь собственного голоса, да и голосу-то звучать свободно было уже небезопасно», это не умаляет в глазах его биографа самого главного в Арате — стремления к свободе Греции. Проживший вместе со своими героями столько разных жизней, Плутарх хорошо усвоил самое главное — многое в этом мире не зависит от нас, велика роль судьбы и случая. Как часто оказывается человек бессилён перед грозным течением вечной реки бытия, но если ему удалось не изменить основному — жить не для себя, а для других, то уже он достоин восхищения и подражания. И поэтому Плутарх пишет, обращаясь к некоему Поликрату, отдаленному потомку Арата: «Я хочу, чтобы на семейных примерах воспитывались твои сыновья, Поликрат и Пифокл, сперва слушая, а потом и читая о том, чему им надлежит подражать».

В то же время и в восхищении героями прошлого, их теперь уже редкими человеческими качествами, дает себя знать присущая Плутарху раздвоенность, поскольку он прекрасно понимает, что и Арат, который «вопреки всем гражданским обычаям» расправился с воспротивившимися его воле мантинейцами, и Филопемен, сделавший «ручными и смиренными» спартанцев, — все они несли свою долю вины за общее поражение греков. Теперь, когда «в греческих городах с истощением сил утихла страсть к раздорам», стала особенно видна главнейшая из причин их упадка: «И правда, за исключением марафонской битвы, морского сражения при Саламине, Платей и

Фермопил... Греция во всех сражениях воевала сама с собой, за собственное рабство, и любой из ее трофеев может служить памятником ее беды и позора, потому что своим упадком она обязана главным образом низости и соперничеству своих вождей». Но и признавая эту печальную истину, Плутарх продолжал, истово и тщательно, запечатлевать в своих многочисленных писаниях величественные образы настоящих людей.

Ему выпало жить в глубокую осень Эллады, осиянную последними лучами благожелательного адрианова правления, когда уже нечего было ожидать появления каких-то выдающихся личностей — засыхающее греческое дерево не плодоносило. Но доживавшему свои последние годы дельфийскому служителю было отраднее знать и напоминать другим, что все-таки они были — великие в своей доблести и добродетели люди. Перечень бессмертных имен, начиная с Солона и заканчивая Тимолеонтом Коринфским, который действительно был последним из подлинных эллинов — не по воинской доблести, но по благородству души, всегдашнему стремлению выступить на помощь угнетаемым.

«Что до меня, — пишет Плутарх, приступая к повествованию о Тимолеонте, — то, прилежно изучая историю и занимаясь своими писаниями, я приучаю себя хранить в душе память о самых лучших и знаменитых людях, а все дурное, порочное, низкое, что неизбежно навязывается нам при общении с окружающими, отталкивать и отвергать, спокойно и радостно устремляя свои мысли к достойнейшим из образцов». О, эта вечная спорная позиция — не замечать окружающего зла, все тех жестоких несообразностей мира, которые нам не дано изменить. Но даже такая позиция — недопущение дурного и низкого в свои собственные помыслы и деяния, пренебрежение к ввергающей в отчаяние силе зла — это уже противостояние тому хаосу неодоушевленной разумом материи, который вечно темной тенью таится рядом с Космосом, поджидая свой страшный час. И где бы взяли силы у этого зла, рассуждает Плутарх, если бы оно было изгнано из каждой души человеческой?..

Так же как и Арат, Тимолеонт Коринфский был борцом с тиранией, но никто бы не мог упрекнуть его в том, что он как-либо способствовал самоубийственным распрям среди греков. Когда граждане Сиракуз изнемогали под игом тирана, а тут еще большой

флот карфагенян подошел к берегам Сицилии и над островом нависла угроза завоевания, сицилийцы обратились к коринфянам за помощью, и те послали Тимолеонта. В это время он был уже стар и отошел от общественных дел. С десятью кораблями престарелый стратег отогнал карфагенян, освободил Сиракузы и другие города от тирании. В некогда многолюдных и богатых Сиракузах перед Тимолеонтом предстала тягостная картина — «такое безлюдие, что городская площадь заросла высокой травой, и там паслись лошади, и в густой зелени лежали пастухи». Он решил возродить славный город и вернуть туда людей, обещая им защиту и поддержку. Однако никто из горожан, разбежавшихся по лесам и горам в ужасе перед «возвышением для ораторов», не пожелал вернуться, и тогда было решено пригласить в город переселенцев из Греции.

Со спокойным удовлетворением повествует Плутарх об исполнении замыслов благородного коринфянина, которого, уже полуслепому от старости, доставляли на носилках в народное собрание Сиракуз, когда там решали особенно важные вопросы: «Тимолеонт искоренил тиранию и положил конец войнам. Остров, который он застал одичавшим от бедствий и глубоко ненавистным для собственных обитателей, он умиротворил и сделал краем до того желанным, что иноземцы поплыли туда, откуда прежде разбегались коренные жители». Свои последние годы он посвятил тому, чтобы вернуть человеческое достоинство тем, кого почти что выморили собственные правители. А бывший тиран Дионисий, простолюдин по рождению, лишившись власти, и думать позабыл о сицилийцах. В силу извечной иронии истории, он нашел прибежище в Коринфе и мог, наконец-то, стать самим собой: «бродил на рынке по рыбным рядам, сидел в лавке у торговца благовониями, пил вино, смешанное рукой кабатчика, переругивался у всех на глазах в продажными бабенками, наставлял певиц и до хрипоты спорил с ними о строе театральных песен».

* * *

«Всего более это напоминает постоянное и близкое общение: благодаря истории мы точно принимаем каждого из великих людей в

своем доме как дорогого гостя», — писал Плутарх. За истекшие полвека этих гостей набралось уже так много, что, соберись они вместе, их вряд ли бы вместило скромное жилище дельфийского жреца. Цари и стратеги, законодатели и реформаторы, софисты, поэты, ораторы, прославленные женщины прошлого — они обступали Плутарха, незримые и вечные, как те «благие образы», которые советовал призывать из околосемного пространства Демокрит. С каждым годом они становились для Плутарха более реальными и дорогими, чем его современники, эти вневременные собеседники — философы и историки прошлого, и его собственные сочинения — те духовные дети, о которых писал когда-то Платон, обретшие бессмертие благодаря своему создателю и уделившие толику этого бессмертия ему самому. Им всем — и Плутарху, и его многочисленным героям, родным и друзьям, к которым он постоянно обращается в своих писаниях — суждено было навеки остаться в осиянной немеркнущим светом древней Элладе, от которой со временем останутся лишь источенные ветрами колонны и фундаменты храмов, но которая пребудет до тех пор, пока на земле останется хотя бы единое мыслящее существо.

Восьмой десяток Плутарха уже приближался к своей середине и что-то подсказывало ему, что уже скоро, оставив свою обветшавшую оболочку, душа его устремится к тем нездешним пределам, откуда, как учили Пифагор и Платон, она явилась на землю для исполнения своего предназначения. То, что ему было предназначено, Плутарх выполнил, завершив огромный труд, вобравший всю историю греко-римского мира. От этого труда до наших дней сохранилось пятьдесят жизнеописаний, двадцать три параллельных и четыре отдельных (Артаксеркс, Арат, Гальба, Отон), и есть основания предполагать, что их было больше. Как среди своих современников, так и в последующие века, пока жива была Греция, Плутарх пользовался уважением, которое распространилось и на его потомков. На его морально-этических трактатах и исторических сочинениях воспитывалось юношество вплоть до последних десятилетий Римской империи. И даже впоследствии, когда на смену античной цивилизации пришла цивилизация новая, христианская, возвышенные писания Плутарха одними из первых были восприняты молодой, формирующейся европейской ученостью.

Как уже говорилось, божество даровало ему великую милость — быть очевидцем того, как восстанавливалось понемногу почтительное удивление вокруг всего того, что еще говорило о былом величии Эллады. «Тебя посылают в провинцию Ахайю, — писал одному из своих друзей Плиний Младший, — эту настоящую, подлинную Грецию, где, как мы верили, впервые появились наука, образование и само земледелие... посылают к людям, которые по-настоящему люди, к свободным, которые по-настоящему свободны и которые сохранили свое природное право доблестью, заслугами, дружбой... Воздавай почет древности, воздавая его великим деяниям, воздавай дань мифам... Всегда помни, что ты вступаешь в Афины, что ты правишь Лакедемоном: отнять у них последнюю тень свободы и оставшееся имя свободы было бы зверской, варварской жестокостью...»

У Плутарха были все основания надеяться, что своими делами и писаниями он способствовал возрождению почтения к неповторимым достижениям своей отчизны. В свое время, повествуя о Пирре и Гае Марии, он с глубоким и горестным недоумением писал о «неразумных и беспамятных людях», у которых «все случившееся с ними уплывает вместе с течением времени, и, ничего не удержав, ничего не накопив, вечно лишены благ, но полны надежд, они смотрят в будущее, не замечая настоящего... Пренебрегая разумом и образованием — единственной твердой основой всех внешних благ, они собирают и копят лишь эти блага и никогда не могут насытить алчность своей души». Для самого же Плутарха не только что эти внешние блага, но даже накопленные внутренние богатства — знания не имели никакого значения по сравнению с тем, что он считал самым главным — сбережение собственной души, того единственного, что роднит нас с богами: «это приходит от них и к ним же возвращается — не вместе с телом, но когда совершенно избавится и отделится от тела, станет совсем чистым, бесплотным и непорочным».

Нам, людям в своем большинстве совсем иного образа мыслей, очень трудно представить себе, что же чувствует убежденный в бессмертии души человек, подходя к своей последней черте. «Истинные философы много думают о смерти, и никто на свете не боится ее меньше, чем эти люди», — писал Платон, не раз обращаясь к тому, что ожидает смертного по ту сторону черты. Что будет с ним на том берегу подземной реки Стикс, где каждый из перевезенных

Хароном получит свое — справедливое воздаяние за прожитую жизнь, которая в конечном счете оказывается не единственной и не последней. «Вселенская душа бессмертна, — писал Платон в одном из своих диалогов, — но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжении десяти тысяч лет, потому что не окрылится раньше этого срока». Он считал, что только после приговора загробного суда и отбывания наказания в подземных темницах — для грешных, и некоторого пребывания в одной из обителей неба для тех, «кого Дике освободила от груза» совершенных при жизни ошибок, только после этого на тысячный год все опять являются перед судом, «чтобы получить новый удел и выбрать себе вторую жизнь, и избирают какую кто хочет».

Этому же учил и Пифагор, перед которым Плутарх благоговел, пожалуй, даже больше, чем перед Платоном. Пифагор первым принес знание о сокровенном из каких-то отдаленных земель, что лежат за древними восточными царствами. По словам Сенеки, «Пифагор утверждал, что есть родство всего со всем и взаимосвязь душ, переселяющихся из одного обличья в другое. Ни одна душа, если верить ему, не погибает и не престаёт существовать иначе, как на малое время, после которого переливается в другое тело».

На вопрос о том, почему же душа, которая «снашивает много тел», не помнит о предшествующих воплощениях (кроме разве того же Пифагора, который даже рассказывал о своих прошлых жизнях), Платон отвечал так: «Припоминать подлинно сущее, глядя на то, что здесь есть, нелегко любой душе... Мало остается таких душ, у которых память достаточно сильна... Поэтому, по справедливости, окрыляется только разум философа».

Плутарх, судя по всему, верил в возможность многочисленных как прошедших, так и будущих жизней, и поэтому яростно возражал Эпикуру, утверждавшему, что со смертью для нас кончается все и навсегда, и мятежному Еврипиду, писавшему о том, что «мы не знаем, не помним о жизни иной, не ведаем мира иного». В то же время Плутарх считал глупостью представления простонародья о том, что после смерти герои или какие-то другие необыкновенные люди возносятся на небо: «смешивать землю с небом — глупость. Лучше, соблюдая осторожность, сказать вместе с Пиндаром:

Всякое тело должно подчиниться смерти всемогущей,
Но остается навеки образ живой,
Он лишь один — от богов».

В отличие от Пифагора, Плутарх ничего не мог рассказать о своих предшествующих жизнях, но в душе его сохранялась память о том, что представлялось ему общей вселенской прародиной — некая вечная обитель любви, красоты и справедливости: "и если душа, беспорочно и безотказно пройдя в тысячах воплощений длительную борьбу, по истечение периода возгорится честолюбивым стремлением вверх, то божество не возбраняет демону помочь ей". Глубинное осознание того, что таящийся в нем микрокосмос есть повторение внешнего, великого космоса и что душа его, "будучи причастна уму, рассуждению и гармонии, является не только произведением бога, но и частью его" — эта главная идея пронизывает все творчество Плутарха. Он был убежден в непреходящем бытии своей души, а также в вечной жизни созданных им образов, пополнивших собой безграничное лоно одушевленной вселенной, и теперь, спустя почти две тысячи лет, есть все основания считать, что он не ошибался.

Основные даты жизни и творчества Плутарха

ок. 46–51 гг. н. э. — родился в г. Херонея, Греция.

ок. 65–67 гг. — пребывание в Афинах, учеба в Академии.

до 79 г. — первая поездка в Рим до 90 г. — вторая поездка в Рим.

ок. 95-125 гг. — работа над "Сравнительными жизнеописаниями".

115 г. — был назначен прокуратором Ахайи ок.

120-130 гг. — кончина.

Источники

1. Плутарх. Сочинения. М., 1983.
2. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1–3. М., 1961–1964.
3. Марциал. Эпиграммы / Пер. А. Фета. СПб., 1891.
4. Петроний Арбитр. Сатирикон. М.; А., 1924.
5. Платон. Сочинения. Т. 1–3. М., 1968–1972.
6. Плиний Младший. Письма Плиния Младшего. М., 1982.
7. Плиний Младший. Похвальное слово императору Траяну. СПб., 1820.
8. Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. Т. 1–3. М., 1890–1899.
9. Светоний Транквилл Гай. Жизнеописания двенадцати цезарей. М., 1985.
10. Сенека Луцилий Анней. Нравственные письма к Луцилию. Кемерово, 1986.
11. Тацит Гай Корнелий. Сочинения. Т. 1–2. Л., 1969.

Литература

1. Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973.
2. Елпидинский Я. Религиозно-нравственное мировоззрение Плутарха Херонейского. СПб., 1893.
3. Мамин А. И. Жизнь и сочинения Плутарха. В кн.: Плутарх о музыке. СПб., 1922.
4. Буассне Г. Общественные настроения времен римских цезарей. М., 1915.
5. Битер Р. Ю. Очерки истории римской империи. М., 1923.
6. Кудрявцев О. Б. Эллинские провинции Балканского полуострова во в тором веке нашей эры. М., 1954.
7. Кнабе Г. С. Корнелий Тацит: время, жизнь, книги. М., 1981.